

Невинная кровь

Автор:

Филлис Джеймс

Невинная кровь

Филлис Дороти Джеймс

Филиппа, прелестная приемная дочь знаменитого ученого, стала наконец взрослой – и сделала шокирующее открытие...

Ее настоящая мать – убийца.

Правда, убийство она совершила много лет назад и вот-вот выйдет из заключения...

Но некоторые преступления невозможно забыть или простить. И пока Филиппа строит планы встречи с матерью, на поиски этой же женщины отправляется – с совсем иными целями – еще один человек.

Тот, кто решил посвятить себя мести и не остановится ни перед чем, чтобы рассчитаться с убийцей невинного ребенка – своей маленькой дочери...

Филлис Дороти Джеймс

Невинная кровь

P.D. James

INNOCENT BLOOD

Печатается с разрешения автора и литературных агентств Greene and Heaton Ltd., Literary Agency и Andrew Nurnberg.

© P.D. James, 1980

Школа перевода Баканова, 2006

© Издание на русском языке AST Publishers, 2015

* * *

Все герои этой книги являются плодом художественного вымысла и не имеют ничего общего с реальными людьми

Книга первая

Удостоверение личности

1

Социальная работница оказалась старше, чем она ожидала; видимо, безвестный чиновник, занимавшийся делами подобного рода, решил, что седеющие волосы и округлости с намеком на приход менопаузы внушат спокойствие усыновленным некогда взрослым, которые приходили за неременной консультацией. В конце концов, они и впрямь нуждались в определенном утешении, эти перемещенные лица с приказом суда вместо родительской пуповины, иначе с какой же стати одолевать волокиту чиновников ради клочка бумаги?

Соцработница ободрила клиента профессиональной улыбкой.

– Меня зовут Наоми Хендерсон, а вы – мисс Филиппа Роуз Пэлфри. Боюсь, для начала придется попросить какой-нибудь документ, удостоверяющий вашу личность.

«Филиппа Роуз Пэлфри – это всего лишь имя, – едва не слетело с уст посетительницы. – Я для того и явилась, чтобы...»

К счастью, девушка вовремя опомнилась. Не хватало еще сорваться в самом начале беседы. Обе прекрасно знали, зачем она пришла. И разговор обязательно должен потечь, как хочется Филиппе... Но вот как именно? Посетительница расстегнула пряжку наплечной кожаной сумочки, молча протянула паспорт и новенькие права.

Усилия настроить клиентов на благодушный лад сказались даже на обстановке кабинета. В комнате был громоздкий, казенного вида стол, однако мисс Хендерсон вышла из-за него, как только услышала о приходе Филиппы, и тут же пригласила ее к виниловым креслам, размещенным по обе стороны от низкого столика. Представьте себе: на его поверхности даже стояли цветы. Синяя вазочка с надписью «Подарок от Польперро» и пестрый букет роз. Причем не какие-нибудь лишенные аромата и шипов тугие бутоны из витрины флориста, но хорошо знакомые девушке по садам Кальдекот-Террас, «суперзвезда», «альбертина». Полностью раскрытые, они роняли яркие лепестки, и лишь в глубине букета затерялось несколько твердых почек с потемневшими краями, которым уже не суждено было распуститься. Филиппе пришло в голову: а не принесла ли их сама хозяйка кабинета? Что, если дама давно удалась на пенсию и вызвана сюда исключительно ради такого случая? В этих грубых башмаках и рабочем костюме из твида ее нетрудно вообразить склонившейся над грядкой с тяжелыми розами, которые и без того не пережили бы короткий лондонский день. Кто-то явно перестарался при поливе. Между желтыми лепестками блестела молочная капля, по крышке стола расплзлось пятно. Впрочем, поддельный махагон от воды ничуть не пострадал. Вместо садовой свежести розы благоухали приторной влагой. Уютные виниловые кресла никак не располагали к уюту. Улыбка, что призывала к покою и доверию, заметно отдавала официальной любезностью – раздел двадцать шестой, год тысяча девятьсот семьдесят пятый, акт об усыновлении.

Поутру девушка изрядно потрудились над своим внешним видом, переделывая себя по собственному же образу и подобию. Прежде всего посетительнице хотелось показать миру, что предстоящая беседа ничуть не беспокоила ее, не выбила из колеи. Подумаешь, очередной визит в чиновничью контору!..
Пышные волосы, успевшие выцвести на солнце так, что пряди переливались разными оттенками золота, Филиппа зачесала с высокого лба и завязала тяжелым узлом. Широкий рот с крупной, изогнутой верхней губой и чувственно опущенными уголками остался без помады, зато тщательно наложенные тени на веках подчеркивали самую выразительную черту лица – сверкающие, слегка навывкате, зеленые глаза. Медовая кожа блестела капельками пота. Не желая прибывать слишком рано, девушка задержалась в садах на набережной, и в конце концов пришлось торопиться. Сандалии, вельветовые брюки, бледно-зеленая хлопковая блуза с широким воротом – дескать, ни деньги, ни положение в обществе меня не особенно трогают – двусмысленно сочетались с украшениями, которые посетительница надела как талисманы: золотыми часами на цепочке, большими викторианскими кольцами (топаз, оливин, сердолик) – и кожаной итальянской сумочкой на левом плече. Подобная странность бросалась в глаза. Восьмые именины стали самым ранним воспоминанием Филиппы, к тому же она была незаконнорожденной, что избавляло девушку от необходимости ханжески поклоняться предкам, оглядываться на чье-либо мнение, сдерживать собственные творческие порывы при уходе за внешностью. В итоге она породила своеобразное, даже странноватое, но уж никак не заурядное впечатление.

Перед мисс Хендерсон лежала раскрытая папка посетительницы – новенькая и аккуратная. Бегло взглянув через стол, Филиппа признала часть содержимого: оранжевый и коричневый листки правительственной информации, копии которых она получила в бюро консультации населения северного Лондона – там, где у девушки не было знакомых, – и свое письмо пятинедельной давности, отправленное в генеральную регистратуру сразу же после восемнадцатого дня рождения: в нем она запрашивала анкету заявления, первый документ на пути к получению желанного удостоверения личности. Копия самого заявления, разумеется, тоже прилагалась. Белоснежное письмо, пришпиленное к бюрократической папке, резало глаза. Его-то и взяла двумя пальцами мисс Хендерсон. Интересно, что ее смущает? – подумала Филиппа. Адрес? Отменное качество бумаги, на которой напечатана копия? Скорее всего – фамилия приемного отца, Пэлфри. Учитывая неумолимую саморекламу Мориса, поток социологических публикаций из его ведомства, соцработница просто не могла не слышать этого имени. Любопытно, прочла ли она его «Теорию и приемы консультирования: пособие для практикующих»? И если да, помогает ли

повышать самооценку клиентов – этих священных коров социальной работы – его остроумное истолкование разницы между развивающим консультированием и гештальттерапией?

– Пожалуй, – произнесла мисс Хендерсон, – для начала следует оговорить границы, в которых я смогу помочь. Многие вам наверняка известно, однако не мешает сразу все прояснить. Детский акт семьдесят пятого года внес ощутимые поправки в закон о правах усыновленных. Теперь по достижении восемнадцатилетнего возраста они при желании могут обращаться в генеральную регистратуру за настоящим свидетельством о рождении: ведь при удочерении вы получили новое, на имя Филиппы Роуз Пэлфри, в то время как первоначальный документ надежно хранился в наших сейфах. Сейчас закон позволяет выдавать подобную информацию. Но упомянутый акт также гласит, что все усыновленные до двенадцатого ноября семьдесят пятого года, то есть до выхода поправки, обязаны прежде пройти собеседование с консультантом. Понимаете, парламент неохотно менял существующее положение, при котором одни родители отдавали, а другие брали детей на воспитание, естественно, подразумевая, что тайна рождения приемного ребенка навсегда останется тайной. И вот сегодня вы приходите за сведениями, получить которые имеете полное право, но мы должны обсудить, как это повлияет на вашу жизнь и судьбы других людей. В конце беседы, если вы все еще будете настаивать, я сообщу ваше первоначальное имя, а также, возможно – хотя не обязательно, – имена ваших биологических родителей и адрес суда, в котором был подписан акт о вашем удочерении. Кроме того, вы получите анкету, по заполнению которой вправе обратиться в генеральную регистратуру за копией свидетельства о рождении.

Все это Филиппа уже слышала, и не раз.

– Да-да, – вмешалась она. – Это обойдется мне в два с половиной фунта. Довольно дешево, не находите? Я читала вашу брошюрку.

– Значит, все ясно. Разрешите спросить, когда вы впервые задумали выяснить свое происхождение? Судя по указанной дате, заявка была подана сразу же, как только вам исполнилось восемнадцать. Что это – внезапный порыв или вы размышляли об этом некоторое время?

– Акт семьдесят пятого вышел в свет, когда мне едва исполнилось пятнадцать. Я как раз оканчивала среднюю школу и, понятное дело, не слишком забивала

себе голову юридическими подробностями. Но про себя решила: вырасту – и все узнаю.

– Вы обсуждали это с приемными родителями?

– Нет. У нас не очень-то разговорчивая семья.

Мисс Хендерсон пропустила замечание мимо ушей.

– А что именно вы собираетесь делать? Всего лишь выяснить, кто ваши родители, или же заняться их поисками?

– Прежде всего – надеюсь узнать, кто я такая. От имен, проставленных на бумажке, не много толка – может статься, оно там вообще одно. Ясно, ведь я незаконнорожденная. Прежние поиски ни к чему не привели. Известно, что моя мама скончалась, ее уже не отыскать. И все равно хотелось бы выяснить, кем она была. Вдруг я найду своего отца? Он, конечно, тоже мог умереть, но я почему-то уверена, что это не так. Внутренний голос подсказывает: он еще жив.

Филиппе нравилось мечтать; правда, обычно ее грезы хоть немного основывались на реальности. Но эта – отрицала законы времени, поэтому была совершенно особенной, невероятной, а главное, обладала притягательной силой, словно древняя религия, допотопные ритуалы которой, усыпляюще знакомые и бессмысленные, все же странным образом свидетельствуют о вечных истинах. Девушка уже и не помнила, почему вопреки логике упорно продолжала рисовать себе сцену из девятнадцатого века, хотя сама родилась в тысяча девятьсот шестидесятом году. Вот ее мать в костюме горничной викторианской эпохи, под гофрированным кокошником, юная, бледная, как тень, замирает у высокой ограды в розовом саду. А вот отец в элегантном фраке, похожий на римского бога, нисходит с террасы, шагает по широкой аллее под тихий плеск фонтанов. По роскошному травяному склону, залитому медовыми лучами предзакатного солнца, важно расхаживают павлины. Две тени сливаются в одну. Черноволосая голова страстно склоняется над сияющими золотыми кудрями.

– Любимая, любимая! Выходи за меня.

– Не могу. Ты же знаешь, что я не могу.

Со временем Филиппа привыкла воображать наиболее дорогие сердцу сцены перед сном, и грезы слетали на нее в метели благоухающих розовых лепестков. Поначалу отец являлся ей в красно-золотом мундире, со знаками отличия на груди и звонкой шпагой на боку. С возрастом девушка решила, что это уже чересчур. Бравый солдат и любитель гончих превратился в образованного аристократа, однако суть картины не изменилась.

По лепестку желтой розы тихо сползала крупная капля; посетительница зачарованно засмотрелась на нее: неужели сорвется, упадет?.. Ой, надо бы послушать, что там говорит мисс Хендерсон.

- А ваша мать, чем она занимается?

- Моя приемная мать готовит еду.

- Так она повариха? - переспросила соцработница с оттенком пренебрежения в голосе. - Это ее профессия?

- Нет, готовит еду для мужа, гостей и для меня. Еще она заседает в суде по делам несовершеннолетних, но, по-моему, это все так, чтобы доставить удовольствие моему приемному отцу: он всегда считал, что у женщины должна быть работа, если это не в ущерб его собственному комфорту. А вот еда - ее настоящий конек. Думаю, мать могла бы стать профессионалкой, хотя и не кончала ничего, кроме вечерней школы, а до свадьбы работала секретаршей у моего отца. Я хочу сказать, кухня - увлечение всей ее жизни.

- О, ваша семья от этого только выиграла, верно?

Филиппа смерила соцработницу холодным взглядом. Долго же, должно быть, дамочка отработывала свой ненавязчиво-покровительственный тон: уж слишком легко он ей давался. Ничего, посетительнице это даже на руку.

- Да, мы с приемным отцом просто обжоры. Хорошо хоть, вес не набираем.

Девушка гордилась своим аппетитом - за столом и в жизни. Неразборчивостью здесь и не пахло, ведь они с отцом выбирали только лучшее, а кроме того, подобное потворство собственным прихотям не заставляло краснеть

или извиняться. В отличие от секса чревоугодие не затрагивает интересы других людей и не связано с насилием, разве что над собственным телом.

Требовательность в еде и питье доставила Филиппе немало приятных минут, ибо, кроме всего прочего, не была простым подражанием Морису (даже он, отъявленный гурман, едва ли сумел бы с такой легкостью распробовать восхитительный букет кларета), ведь утонченный вкус можно лишь унаследовать. Вот, например, на семнадцатый день рождения... На столе три бутылки, этикетки скрыты под оберткой. А Хильда – сидела она за столом или нет? Наверняка сидела, все-таки семейное торжество, однако в воспоминаниях девушки они с Морисом праздновали вдвоем. И он промолвил:

– Скажи, что тебе ближе. Только не надо пышных дифирамбов, вырази это своими словами. Я хочу знать, что ты думаешь.

Филиппа снова попробовала вина, смакуя во рту каждый глоток и запивая «образцы» водой. Глаза приемного отца вызывающе блестели. Кажется, она все делает правильно.

– Вот это.

– Почему?

– Не знаю, просто понравилось.

Но нет, он ожидает более развернутого суждения. Хорошо же.

– Вероятно, потому что здесь вкус неотделим от запаха и того, что чувствует язык. Единство трех наслаждений.

Она поняла сразу, что нашла верный ответ. Еще один тест успешно пройден, девушка поднимается на новую ступень. По закону Морис не вправе совсем отвергнуть ее, отослать обратно. Тем важнее доказать, что он не ошибся с выбором, оправдать его крупные денежные вложения, все до пенни. Хильда, сама работавшая на кухне часами, ела и пила скудно. В основном она с жадной тревогой смотрела, как муж и приемная дочь уплетают приготовленное. Таков наш мир: один дает, другие принимают. В этом есть определенный порядок.

- Вы обижены за то, что они вас взяли? – спросила мисс Хендерсон.

- Напротив, очень благодарна. Мне повезло. Вряд ли я ужилась бы в бедной семье.

- Даже если бы они вас любили?

- С какой это стати? Не такой уж я приятный человек, чтобы заслуживать любви.

Ну нет, с бедняками было бы гораздо хуже. Да и с любой из прежних приемных семей. Какие-то запахи: собственных испражнений, гниющих объедков за рестораном, ребенка в засаленных тряпках, крепко прижатого к материнской груди в автобусе, – заставляли ее на миг содрогнуться от ужаса, который не имел ничего общего с отвращением. Воспоминания, точно вспышки прожекторов, проникали в потаенные закоулки ее души, выхватывая давние сцены, яркие, словно детский журнал, с четкими, как у кубиков, гранями, способные месяцами прятаться на глубине подсознания, не связанные в отличие от обычных подростковых воспоминаний с определенным временем или местом, а уж тем более с любовью.

- Вы их любите? Любите приемных родителей?

Филиппа задумалась. Любовь. Какое избитое слово. Самое затасканное в мире. Элоиза и Абелард[1 - Из поэмы «От Элоизы к Абеларду» Александра Поупа. – Здесь и далее примеч. пер.]. Рочестер и Джейн Эйр. Эмма и мистер Найтли[2 - Герои романа Джейн Остен «Эмма»]. Анна и граф Вронский. Даже если брать в расчет одно лишь банальное разнополое чувство, и тогда каждый придает этим звукам такое значение, какое захочет.

- Нет. И они меня – тоже. Зато мы вполне подходим друг другу. На мой взгляд, это гораздо удобнее, чем жить с людьми, которые тебя любят, но совершенно не устраивают.

- Пожалуй, я понимаю, о чем вы говорите. А много ли вам известно про обстоятельства удочерения? Вам когда-нибудь рассказывали о биологических родителях?

– Приемная мать кое-что говорила. Морис – никогда. Отец преподает в университете, он социолог. Его первая жена однажды поехала куда-то с ребенком, и оба погибли в дорожной аварии. Спустя девять месяцев Морис Пэлфри заключил брак с моей приемной матерью. Оказалось, она не может иметь детей, и тогда они нашли меня. Я жила с другой семьей, так что им пришлось меня забрать. Через полгода отец обратился в суд за распоряжением об удочерении. Обо всем условились в частном порядке. Ваш новый акт объявил бы такой договор незаконным. Хотя и не представляю почему. По-моему, это единственно здоровое решение. Мне-то уж точно жаловаться не на что.

– Да, подобный подход сработал для тысяч детей, однако в нем кроется определенная опасность. Мы не желаем возвращаться к тем временам, когда будущие приемные родители прохаживались между рядами колыбелек и выбирали малыша по своему вкусу.

– А что здесь такого? Дети еще маленькие, им все равно. Щенят или котят мы только так и покупаем. На мой взгляд, к ребенку надо проникнуться хоть каким-то чувством, понять, желаешь ли ты его растить, сможешь ли полюбить. Если бы я надумала взять приемыша, стала бы я полагаться на мнение соцработников? А вдруг мы друг другу не подойдем? Я даже не смогла бы вернуть навязанное сокровище. Ваш департамент немедленно вычеркнул бы меня из списков как неблагонадежную истеричку, которая заводит детишек только ради удовольствия. Интересно, а зачем еще это делать?

– Для того, чтобы дать ребенку лучшие возможности в жизни.

– Вы хотели сказать, чтобы ублажать свою совесть и думать о себе с уважением? По-моему, это одно и то же.

Ну, с подобной ересью мисс Хендерсон и спорить не станет. Теория социальной работы непогрешима. Женщина всего лишь улыбнулась и продолжила:

– Так вам известно что-нибудь о вашем прошлом?

– Только то, что я незаконнорожденная. Первая жена приемного отца была из аристократического рода, дочь графа из Уилтшира. Думаю, мать работала у них горничной и забеременела, но никто не знал, от кого. Вскоре после родов

она умерла. Вряд ли ее возлюбленный прислуживал с остальными: уж такой-то секрет наверняка выплыл бы наружу. Скорее всего это был какой-нибудь гость их поместья. Я мало что ясно помню до восьмилетнего возраста. Разве что розовый сад в Пеннингтоне. И библиотеку. Вроде бы мой отец, мой настоящий отец, бывал там со мной. А приемного отца, наверное, свел со мной кто-нибудь из дворецких. Он никогда не говорит об этом. Вот и все, что я узнала от приемной матери. Полагаю, Морис не взял бы меня, будь я мальчиком. Он бы нипочем не дал свою фамилию чужому сыну, нипочем. По-моему, для него это всегда ужасно много значило.

- Оно и понятно, правда?

- Конечно. Вот почему я здесь. Для меня тоже важно знать своих родителей.

- Хорошо, для вас это важно.

Мисс Хендерсон опустила глаза на папку. Зашуршали бумаги.

- Итак, вас удочерили седьмого января тысяча девятьсот шестьдесят девятого года, в возрасте восьми лет. То есть довольно большой девочкой.

- Наверное, это им показалось проще, чем нянчиться бессонными ночами с младенцем. И потом, приемный отец мог уже не сомневаться, что я здорова и неглупа. Разумеется, детей часто осматривают врачи, но с грудничками никогда нельзя быть уверенным, особенно в отношении ума. Не станет же Морис обременять себя ребенком, отсталым в развитии.

- Он вам это сказал?

- Нет, я сама так рассудила.

Лишь одно посетительница знала твердо: она из Пеннингтона. Память отчетливо рисовала ей розовый сад и еще красочнее – библиотеку Рена[3 - Рен, Кристофер (1632–1723) – английский архитектор, математик и астроном. Представитель классицизма.]. Когда-то в детстве Филиппа стояла под роскошным потолком огромной комнаты, любовалась лепными гирляндами и херувимами семнадцатого столетия, разглядывала резьбу Гринлинга Гиббонса[4 - Гиббонс,

Гринлинг (1648–1721) – английский скульптор; выдающийся резчик по дереву.], богато украшавшую бесчисленные полки, рассматривала бюсты работы Рубильяка[5 - Рубильяк, Луи-Франсуа (1695–1762) – французский скульптор; жил и умер в Лондоне.] на шкафах: Данте, Гомер, Шекспир, Мильтон. Девушка видела себя у письменного стола с раскрытой книгой. Увесистый том оттягивает руки, так что ноют от боли запястья; она читает вслух, а сама боится, как бы не уронить фолиант. Отец – настоящий отец – наверняка был там с ней. Филиппа настолько поверила в свое родство с этой библиотекой, что иногда воображала себя дочерью самого графа. Но нет, лучше уж хранить верность грезам о заезжем аристократе. Граф непременно узнал бы, что стал отцом. И разумеется, ни в коем случае не бросил бы родную кровь на произвол судьбы окончательно, не попытавшись разыскать свое дитя за долгих восемнадцать лет. Девушка ни разу не возвращалась в поместье, а с тех пор, как арабы купили его и превратили в мусульманскую крепость, и вовсе не собиралась этого делать. Но однажды, когда ей исполнилось двенадцать, Филиппа взяла в читальном зале Вестминстера книгу о Пеннингтоне, прочла описание библиотеки и даже нашла иллюстрацию. Сердце заколотилось от радости: лепной потолок, резьба Гринлинга Гиббонса, бюсты – все совпадало с картинкой, давно и любовно хранящейся в памяти. Значит, маленькое дитя с тяжелой книгой в руках и в самом деле существовало.

Остаток собеседования Филиппа пропустила мимо ушей. Ясно, что без этого нельзя, и социальная работница явно старалась выполнять свой долг. Разве она виновата, что законодатели насоздавали досадных проволочек ради успокоения собственной совести? Однако ни один из доводов, добросовестно выдвинутых перед Филиппой, не умерил ее решимости найти родного отца. Почему, собственно, он должен быть против их встречи? Дочь ведь не явится с пустыми руками, а положит к его ногам завидный трофей: диплом Кембриджа...

Она заставила себя вернуться к реальности.

– Честно сказать, я не вижу смысла в этом собеседовании. Вы что же, намерены переубедить меня? Либо чиновники считают, что я имею право знать своих родителей, либо нет. Но позволять, а потом отговаривать – здесь что-то не сходится.

– Парламент всего лишь хочет, чтобы каждый усыновленный серьезно подумал о последствиях, которые навлечет подобное знание не только на него, но и на родителей обоего рода.

– Я уже подумала. Моя мать умерла, так что ей ничего не грозит. Отца я пугать не собираюсь. По-вашему, я хочу ворваться в дом во время семейного праздника и объявить себя незаконнорожденной? Просто интересно: где он сейчас, жив ли, чем занимается? Вот и все. А приемные родители тут вообще ни при чем.

– Как же, разве не было бы мудрее и человечнее сначала поговорить с ними?

– А что обсуждать? Закон дает мне право, и я намерена им воспользоваться.

Вечером, прокручивая в голове порядок собеседования, Филиппа так и не вспомнила, когда именно получила желаемое. Должно быть, в какой-то момент социальная работница произнесла что-нибудь вроде: «А вот и сведения, за которыми вы пришли». Хотя нет, для сухаря в юбке это слишком театрально. Но ведь что-то же она сказала, прежде чем достать из папки нужную бумагу и вручить посетительнице?

Как бы там ни было, документ оказался у нее в руках. Она недоверчиво уставилась на него. Здесь вкралась какая-то ошибка. На бумаге стояло два имени вместо одного. Мэри Дактон и Мартин Джон Дактон. Филиппа пробормотала имена вполголоса. Ничего: ни единого воспоминания, хотя бы смутного, даже сердце не екнуло. Что же произошло? Ах да... Незаметно для себя девушка принялась рассуждать вслух:

– Значит, когда стало известно, что мама забеременела, ее быстро выдали замуж. Скорее всего за кого-нибудь из прислуги. В Пеннингтоне часто так поступали. Раньше мне и не приходило в голову, что она отдала меня еще при жизни. Видимо, понимала, как мало ей осталось, и желала обеспечить единственную дочь всем самым лучшим. Естественно, если свадьбу сыграли до моего рождения, супруга и записали в отцы. По бумагам я законная. Хорошо, что у мамы был муж. Он должен был узнать обо мне перед женитьбой. А вдруг на смертном одре Мэри назвала ему имя настоящего отца? Значит, первым делом надо разыскать этого Мартина Дактона.

Филиппа накинула на плечо кожаную сумочку и протянула руку. Мисс Хендерсон проговорила что-то на прощание: дескать, посетительница всегда может рассчитывать на ее посильную помощь, и, дескать, пусть она все же обсудит случившееся с приемной семьей, ну и не стоит самой заниматься поисками отца, лучше довериться посредникам. Девушка слушала вполуха. Впрочем, несколько

слов проникли в ее сознание:

– Все мы порой живем за счет воздушных замков. Бывает, что, избавляясь от них, мы только причиняем себе мучительную боль: не возрождаемся к новой восхитительной жизни, а в некотором роде умираем.

Филиппа и мисс Хендерсон пожали друг другу руки. Девушка впервые со смутным интересом посмотрела в лицо собеседнице и заметила мимолетный взгляд, который при слабом знании жизни по ошибке можно было бы принять за жалость.

2

Тем же вечером, четвертого июля тысяча девятьсот семьдесят восьмого года, Филиппа отправила начальнику службы регистрации актов гражданского состояния запрос и чек на нужную сумму, приложив, как и в прошлый раз, конверт с адресом и маркой. Ни Морис, ни Хильда никогда не любопытствовали по поводу ее переписки, однако, если бы в ящике появилось послание с официальной печатью, это могло бы вызвать лишние расспросы. Следующие дни она чувствовала себя как на иголках и, чтобы скрыть свое состояние от Хильды, часто уходила из дому. Разгуливая по берегу озера в Сент-Джеймском парке, она бесконечно прикидывала в уме, когда же должно прийти свидетельство о рождении. Правительственные чиновники просто обожают тянуть резину, да ведь вопрос-то пустяковый. Что им стоит заглянуть в прежние записи?

Ровно через неделю, во вторник одиннадцатого июля, на коврик у двери лег знакомый конверт. Она тут же помчалась с ним к себе, уже с лестницы крикнув Морису, что ему ничего не пришло. Как будто внезапно ослабев глазами, Филиппа подошла к окошку. Новенькая, хрустящая бумага, гораздо более солидная по содержанию, чем та урезанная форма, которой Филиппа довольствовалась прежде, на первый взгляд не имела ничего общего с судьбой адресата. Документ удостоверял рождение младенца женского пола по имени Роза Дактон, дата: двадцать второе мая тысяча девятьсот шестидесятого года, место: Банкрофт-Гарденс, сорок один, Севен-Кингз, Эссекс, отец: Мартин Дактон, клерк, мать: Мэри Дактон, домохозяйка.

Выходит, супруги покинули Пеннингтон еще до появления Филиппы на свет. Если вдуматься, это неудивительно. Поражало другое – то, как далеко они уехали от Уилтшира. Наверное, хотели покончить со старой жизнью раз и навсегда. Кто-то из знакомых нашел Мартину работу; или он просто вернулся в родные края. Интересно, какой он человек и хорошо ли обращался с матерью? Филиппа надеялась, что сможет проникнуться к нему если уж не приязнью, то хотя бы уважением. А вдруг он до сих пор живет по тому же адресу? Возможно, со второй женой и собственным ребенком. Прошло ведь каких-то десять лет...

Она позвонила на вокзал, не выходя из комнаты. Оказалось, что Севен-Кингз – это на Восточной пригородной линии. В часы пик поезда отправляются туда каждые десять минут. Филиппа не стала ждать завтрака, собралась и вышла из дома. Если будет время, она выпьет кофе на вокзале.

В девять часов двадцать пять минут от станции «Ливерпуль-стрит» тронулся почти пустой состав. Филиппа заняла удобное место и устремила взгляд в окно. Мимо потянулись восточные предместья Лондона: длинные ряды обшарпанных, закоптившихся кирпичных домов, над залатанными крышами которых торчали, путаясь проводами, антенны, будто тоненькие скрюченные амулеты против сглаза; дальние шеренги многоэтажек, тускло-серые сквозь пелену мелкой измороси; двор, набитый останками разбитых машин, в символической близости от единообразных кладбищенских крестов; красильная фабрика, сборище газовых резервуаров; пирамиды щебня и угля, сваленные вдоль дороги; пустыри, заросшие сорной травой; покатая земляная насыпь, на гребне которой теснились пригородные сады с их бельевыми веревками, сараями для инструментов и детскими качелями среди алых и розовых роз. Восточные трущобы, чьи благозвучные имена: Мэриленд, Форест-Гейт, Манор-Парк – никак не вязались с их видом, казались Филиппе чуждыми и незнакомыми землями: за последние десять лет она столь же мало навевывалась сюда, как и, скажем, в пригород Глазго или Нью-Йорк. Никто из школьных друзей Филиппы не жил восточнее Бетнал-Грин. Хотя, судя по слухам, у некоторых были дома в неиспорченных кварталах в стороне от дороги Уайтчепел, на застенчивых островках культуры и радикального шика среди каменных башен-высоток и заводских пустырей – правда, их не навещали. Однако унылые каменные джунгли, сквозь которые с грохотом летел поезд, пробуждали странные воспоминания, казались незнакомыми – и узнаваемыми, тоскливо одинаковыми – и неповторимыми одновременно. А ведь Филиппа в жизни не ездила по этой линии. Должно быть, угрюмый пейзаж, мелькающий за окном, был слишком уж предсказуем и настолько похож на окраину любого большого города,

что позабытые описания, пожелтевшие иллюстрации в книгах, газетные фото и обрывки фильмов, перемешавшись в ее воображении, вызвали это необъяснимое чувство родства. Если вдуматься, каждый человек бывал в подобных местах – по крайней мере хмурые ничейные земли оставляют след на карте всякой души.

На станции Севен-Кингз не стояло ни единого такси. Филиппа спросила у контролера путь и пошла вниз по Хай-стрит. По правую руку тянулась железная дорога, по левую – крохотные лавки с жилыми квартирами наверху, прачечная, газетный киоск, магазин зеленщика и универсам, у дверей которых уже толпились очереди.

Запах и звуки улицы наполнили сердце щемящей болью – и вдруг не то оживили в памяти, не то породили в вымыслах ужасную, невероятную сцену. По такой же, как эта, дороге женщина катит коляску с младенцем. Филиппа едва научилась ходить, но уже ковыляет следом, ухватившись за ручку. Булыжники мостовой, испещренные пятнами света, все быстрее и быстрее бегут под узенькие колеса. Ладонка соскальзывает с горячего, мокрого от пота металла. Девочке отчаянно страшно: теперь ее позабудут, бросят, она упадет и будет раздавлена колесами ярко-красных автобусов. Но вот – крики, ругань. Щеку обжигает оплеуха. Резкий рывок едва не выдергивает руку из плечевого сустава, и женщина снова кладет ее ладонь на ручку коляски. Кажется, Филиппа звала даму тетей. Да, тетей Мэй. Поразительно, как она только вспомнила это имя. А на младенце красная вязаная шапочка. Личико вымазано слюной и шоколадом. Девочка ненавидит этого ребенка. И еще на улице зима. Мостовая залита огнями, над лавкой зеленщика болтается гирлянда разноцветных шаров. Женщина останавливается купить рыбы. Перед глазами ярко вспыхивает витрина, блестят чешуйки красноглазых селедок, в нос ударяет жирный аромат копченостей... Филиппа взглянула на мостовую с крапинами дождя. Неужели она стоит на той же улице, на тех же камнях, о которые так отчаянно спотыкалась когда-то? Или у нее снова разыгралось воображение?

Поворот налево, на Церковную аллею, – и хмурая торговая суета уступила место жилому уюту. Узкая улочка с плавными изгибами шумела кронами платанов. Возможно, до Первой мировой войны это и впрямь была целая аллея, которая вела к старой деревенской церквушке, теперь уже давно снесенной или погибшей в бомбежках во время Второй мировой. Сейчас же в отдалении маячил приземистый шпиль из бетонных блоков с облицовкой каменной крошкой, увенчанный флюгером вместо креста, и было неясно, что именно там

находится.

И вот наконец – Банкрофт-Гарденс. По обе стороны от улицы – ряды одинаковых домов на две семьи. Ни калиток, ни оград, одни лишь низкие кирпичные стены вокруг палисадников. Все имело чинный, солидный и, можно сказать, одинаковый вид. Впрочем, кое-какие различия жители вносили в силу собственных наклонностей и талантов: в одном палисаднике неукротимо бушевали яркие летние цветы, второй зеленел дотошно выстриженными газонами, на каменных дорожках третьего стояли цветочные горшки с геранью и плющом.

Филиппа нашла табличку с номером сорок один – и замерла в изумлении. Дом резко выделялся на фоне прочих странностью вкуса своих владельцев. Желтый лондонский кирпич оказался выкрашен в ярко-алый цвет с белыми крапинами, отчего напоминал гигантские детские кубики. Зубцы на фасаде сияли попеременно синим и красным. Тюль на окне перехватывали широкие бархатные ленты с пышными бантами. Обычную входную дверь заменила новая, сочного желтого оттенка, с непрозрачной стеклянной панелью. В передней части палисадника располагался искусственный прудик, окруженный синтетическими скалами, на которых торчали три гнома с удочками и радостно щерились, как ненормальные.

Еще прежде, чем нажать кнопку звонка и услышать его мелодичную песенку, девушка ощутила, что дом совершенно пуст. Должно быть, хозяйева ушли на работу. Устояв перед искушением подсмотреть сквозь узкую щель для писем, Филиппа решила попытаться счастья у соседей: хотя бы узнать, живет ли здесь по-прежнему мистер Дактон или он куда-нибудь переехал. Звонка у них не оказалось, а стук молоточка прозвучал неестественно громко и повелительно. Никакого ответа. Девушка прождала целую минуту и снова подняла руку, но тут в доме зашаркали ноги. Дверь приоткрылась на цепочке, в щели появилась пожилая дама, в переднике, с сеткой на волосах, и смерила неожиданную утреннюю посетительницу подозрительным взглядом.

– Прошу прощения за беспокойство, – промолвила Филиппа. – Не могли бы вы мне помочь? Я разыскиваю мистера Мартина Дактона, который жил в этом доме, через стенку от вас, десять лет назад. Сейчас там никого нет. Вот я и подумала, вдруг вы подскажете, где он?

Женщина замерла, будто пораженная молнией; смуглая, похожая на птичью лапу рука застыла на цепочке, а единственный видимый глаз озадаченно уставился на гостью. Послышались другие шаги, более тяжелые и уверенные, хотя и по-прежнему приглушенные ковром.

- Кто там, мам? - произнес мужской голос. - В чем дело?

- Пришла какая-то девушка, спрашивает Мартина Дактона, - почему-то прошипела сквозь зубы пожилая дама.

Мужчина плотного телосложения откинул цепочку. По сравнению со своим сыном женщина показалась настоящей карлицей. На нем были слаксы, теплый жилет и красные домашние тапочки. «Наверное, кондуктор или водитель автобуса, - подумала девушка. - И сегодня у него выходной. Значит, я не вовремя».

- Еще раз извините за беспокойство, - примирительным тоном сказала она, - мне нужно разыскать Мартина Дактона. Он когда-то жил рядом с вами. Вы, случайно, не знаете, что с ним стало?

- Дактон? Так он же помер, разве нет? Уже лет девять тому назад. В тюрьме Вандсворт.

- Как - в тюрьме?

- А где ж ему еще быть, убийце траханному? Сначала изнасиловал ребеночка, потом придушил вместе со своей ненаглядной. Вам-то он на кой сдался? Журналистка, что ли?

- Нет-нет, ничего такого. Должно быть, я спутала имя. Это не тот Дактон.

- Или кто-нибудь вас не туда направил. Здешний-то был Мартин Дактон. А ее звали Мэри Дактон. И теперь зовут.

- Она что, жива?

– Вроде бы да. Не сегодня завтра выходит. Десять лет-то уже минуло. Только сюда ей соваться смысла нет. После них тут четыре семьи побывало. Полгода назад молодая пара въехала. И цена-то плевая, да не лежит у людей душа оставаться, когда в этих самых стенах ребеночка убили. На втором этаже, со стороны улицы. – Он кивнул на сорок первый дом, старательно избегая смотреть на Филиппу.

– Лучше бы их повесили, – вдруг промолвила женщина.

И Филиппа неожиданно для себя ответила:

– Вы правы. Виселица – вот что им полагается. И больше ничего.

– Точно, – кивнул мужчина и обернулся к матери: – В лесу ее, что ль, закопали? Вроде бы так, мам? В лесу Эппинг-Форест. А бедняжке двенадцать едва стукнуло. Ты помнишь, мам?

Последние слова ему пришлось нетерпеливо выкрикнуть. Возможно, женщина была туга на ухо. Наконец, пристально глядя на гостью, она проговорила:

– Ее звали Джули Скейс. Теперь я припоминаю. Они убили Джули Скейс. Но только до леса не добрались. Полиция изловила их раньше, с трупом в багажнике. Джули Скейс.

– А... дети у них были, не знаете? – еле вымолвила Филиппа непослушными губами.

– Откуда нам знать? Когда мы переехали из Ромфорда, парочка уже сидела. Ходили слухи про какую-то девочку, вроде бы ее удочерили. Лучше не придумаешь для бедняжки.

– Значит, я точно ошиблась, – произнесла Филиппа. – У того Дактона детей не было. Видимо, адрес неправильный. Простите, что потревожила.

И она двинулась прочь по дороге. Потяжелевшие ноги онемели и шевелились как бы отдельно от всего тела, однако продолжали нести ее вперед. Филиппа пристально смотрела на камни тротуара, чтобы не сбиться, точно пьяница,

пытающийся добраться домой.

Взгляды недоверчивой пары прожигали ей спину; пройдя два десятка ярдов, она не выдержала, остановилась и заставила себя обернуться с бесстрастным видом. Мать и сын тут же скрылись за дверью.

Оставшись одна на безлюдной улице, избавившись наконец от наблюдения, Филиппа поняла, что не может идти. Она протянула руки к ближайшей кирпичной стене и присела. Голова болезненно закружилась, Филиппа опустила ее между колен и ощутила, как кровь приливает ко лбу. Слабость отпустила, зато началась тошнота. Девушка выпрямилась, прикрыла веки, чтобы не видеть качающихся домов, и глубоко вдохнула свежего воздуха, пропитанного цветочными ароматами. Открыв глаза, решила сосредоточиться на вещах, которые могла трогать и чувствовать. Пальцы прошлись по шершавой стене. Когда-то над кирпичами тянулась железная ограда; теперь от нее остались дыры, заполненные грубым цементом. Должно быть, во время войны металл переплавили на оружие.

Она по-прежнему не сводила взгляда с булыжников мостовой. Те ярко сверкали бесчисленными точками слепящего света, словно усеянные алмазами. Среди волн золотой пыли лежал одинокий розовый лепесток, алый, точно капля крови. Любопытно, как чудесно способны преобразиться обычные камни, если смотреть на них долго и пристально. По крайней мере они были реальны, как и она сама – более уязвимая, менее долговечная, чем кирпич или эти булыжники, но все же настоящая, зримая личность.

Из соседнего дома вышла моложавая женщина с коляской; ребенок чуть постарше младенческого возраста шагал рядом, неловко держась за ручку. Когда его мать покосилась на незнакомку, он замедлил шаги, обернулся и тоже уставился на девушку широко распахнутыми, нелюбопытными глазами. Пухлые ладошки соскользнули с надежной ручки. Филиппа с огромным трудом попыталась встать, потянулась к малышу, словно хотела предупредить или уберечь его. Женщина замерла, окликнула ребенка, и тот заторопился назад, к спасительной коляске.

Филиппа провожала их глазами, пока пара не скрылась за углом. Настало время идти. Нельзя же все время сидеть, буквально приклеившись к стене, точно к единственному прочному убежищу среди непостоянного мира. В памяти отчего-то всплыли слова Буньяна, и девушка неожиданно произнесла их:

– Другие тоже мечтали, чтобы кратчайший путь к отчужденному дому лежал прямо здесь и не был наполнен препятствиями более серьезными, чем холмы или горы, но только путь есть путь, и он не имеет конца.

Филиппа и сама не знала, почему произнесенные слова утешили ее. Раньше она не слишком увлекалась Буньяном. Неясно, с какой стати этот небольшой отрывок теперь затронул ее душу, смущенную страхом, разочарованием и тревогой. Однако, шагая обратно к вокзалу, она вновь и вновь повторяла каждое слово, словно те обладали собственной, основательной и непреложной природой, такой же, как и булыжники под ногами. «Путь есть путь, и он не имеет конца».

3

С тех пор как Морис Пэлфри занял место старшего преподавателя, социологическое отделение сильно разрослось, поднявшись на гребне волны оптимизма и мирской веры шестидесятых, и перебралось в удобное здание на Блумсбери-сквер, возведенное в конце восемнадцатого века.

Дом приходилось делить с отделением востоковедения, известным своей скрытностью и количеством посетителей. Процессии невысоких темнокожих мужчин в очках и женщин в сари каждодневно проникали через переднюю дверь, растворяясь в жуткой тишине. Морис постоянно сталкивался с ними на узких лестницах; посетители отступали, кланялись, улыбались; при этом глаза их превращались в щели. Порой на верхнем этаже загадочно скрипели половицы. Дом казался зараженным какой-то таинственной деятельностью, словно был населен мышами.

Комната мистера Пэлфри когда-то являлась частью элегантного кабинета с тремя высокими окнами и кованым балконом, выходящим на площадные сады, но со временем ее поделили, чтобы освободить место для секретарши. Красота пропорций оказалась нарушена, а изящное резное украшение камина, полотно Джорджа Морланда[6 - Морланд, Джордж (1763–1804) – английский художник.] над ним и пара кресел в стиле ампир начали выглядеть претенциозно и нелепо. Морису вечно хотелось объяснить посетителям, что это не подделки. Секретарша проходила к себе через кабинет начальника и к тому же так громко стучала по клавишам, что металлическое облигато[7 - Облигато (ит. obbligato, от лат. obligatus – обязательный, неременный) – партия инструмента в музыкальном произведении, которая не может быть опущена и должна

исполняться обязательно.] сквозь перегородку мешало проводить совещания; мистер Пэлфри вынужден был запретить Молли печатать, когда к нему приходят.

Теперь он не мог сосредоточиться на разговоре, зная, что она сидит за дверью и тупо смотрит на машинку, не ведая, чем заняться. Пожертвовав элегантностью и красотой, хозяин кабинета не выгадал ничего. Побывав здесь впервые, Хелена обронила только: «Не люблю совещания» – и больше не появлялась. Хильда, которую вроде бы никогда не интересовала внешняя обстановка, покинула отделение после свадьбы и уже не возвращалась сюда.

Привычка работать вне дома начала вырабатываться сразу после брака с Хеленой, как только та приобрела шестьдесят восьмой дом на Кальдекот-Террас. Когда они, точно дети, угодившие в сказочную страну, шагали рука об руку по пустым гулким комнатам и распахивали ставни, впуская с улицы мощные потоки света, которые большими яркими лужами ложились на неполированный паркет, – уже тогда совместное будущее молодых стало вырисовываться перед ними довольно отчетливо. Жена сразу же дала понять, что не допустит вмешательства работы в домашнюю жизнь. Стоило Морису заикнуться об отдельном кабинете, она тут же указала на маленькие размеры купленного здания. Дескать, на верхнем этаже, рядом с детской, поселится няня (странно: чего ради нанимать прислугу и повара, если она не собиралась сама присматривать за младенцем?). А потом еще понадобятся гостиная, столовая, две спальни для супругов и одна про запас. И вообще, зачем обзаводиться подобной роскошью, которой не было даже в Пеннингтоне? О личной библиотеке Хелена тоже не желала слышать, ибо что это за библиотека, если она не выдержана в шикарном стиле отцовского имения? Комната, забитая книжками, да и только.

Теперь, по прошествии времени, которое ослабило горечь утраты, – ах, как досконально его коллеги описывали этот увлекательно болезненный психологический процесс! – когда наконец Пэлфри мог судить о прошлом как бы со стороны, не испытывая ни боли, ни прежнего унижения, он лишь изумлялся извращенной морали этой женщины, способной – причем явно без зазрения совести – навязать ему чужого ребенка. Морису припомнился их первый разговор о ее беременности.

– Как ты намерена поступить? – спросил он. – Сделаешь аборт?

- Вот еще! - возмутилась она. - Не будь пошляком, дорогой.

- Что же здесь пошлого? - удивился Пэлфри. - Некрасиво, нежелательно, опасно - да; пожалуй, неправильно с точки зрения нравственности, - однако чтобы пошло?

- И то, и другое, и третье, все вместе. Как ты мог вообразить, что я на такое пойду?

- Ну... Возможно, ребенок покажется тебе обузой.

- Моя старая нянька - вот обуза. И отец тоже. Не убивать же их за это.

- И что ты решила?

- Выйти за тебя, разумеется. Ты же свободен, правда? Или припрятал где-нибудь свою женушку, а я о ней просто не слышала?

- Жены у меня нет. Но, милая, дорогая, ты ведь говоришь несерьезно? Разве ты хочешь этого?

- Откуда мне знать, чего я хочу. Я уверена только в том, чего не хочу. И все-таки лучше бы нам пожениться.

Это была зауряднейшая, примитивнейшая ложь, а Морис пал ее наивной жертвой. Понятно, его сжигала первая и единственная любовь, которая, как известно, никому еще не помогала ясно думать. Поэты не зря называют страсть безумием. Уж его-то чувство явно было нездоровым, ибо умудрилось нарушить все: мыслительные процессы, отношение к реальности, даже аппетит, пищеварение и сон оказались расстроены. Неудивительно, что Пэлфри и не заметил, с какой головокружительной быстротой эта девушка выбрала его среди многих во время памятных выходных в Перудже, какой короткий срок пролетел между первым оценивающим взглядом через стол и разделенной на двоих постелью.

Одно верно: Хелена действительно знала только то, чего не хотела. Ее желания выглядели скромно и безобидно, а вот нежелания пугали мощной направленной

страстью. Изумительно, как скоро молодые нашли тот дом на Кальдекот-Террас. Все остальные районы Лондона, казалось, вообще не подходили ей. Хампстед? Чересчур модно. Мейфэр? Слишком дорого. Бейсуотер – вульгарно, Белгрейвия – невыносимо чисто. Выбор ограничивало и ее категорическое нежелание даже думать о закладной. Сколько бы муж ни говорил ей о преимуществах и сниженных налогах, все напрасно. В девятнадцатом столетии граф однажды заложил Пеннингтон, на беду своих наследников. Нет уж, закладная – это слишком по-мещански. В конце концов молодые отыскали в районе Пимлико Кальдекот-Террас, и здесь возлюбленная подарила Пэлфри, хотя и походя, ненароком, четыре счастливейших года в его жизни. Ее и Орландо гибель научила Мориса всему, что он знал о страданиях. К счастью (как он думал теперь), преждевременное открытие не омрачило первые месяцы чистого горя. Ведь только через два года после женитьбы на Хильде, когда супруги обратились к врачам, чтобы выяснить причину своей бездетности, мистеру Пэлфри сообщили ужасную правду: он и жена не могут завести ребенка. Итак, все это время несчастный тосковал по женщине, которой никогда не существовало, и по сыну, которому не был отцом. Ну что ж, долг оплачен, причем с лихвой.

Правду сказать, кончина Орландо принесла страдальцу больше душевных мук, чем гибель самой Хелены. Наверное, их супружеское счастье всегда казалось ему незаслуженным, несбыточным, ускользающим, словно мечта, которую Морис почти не надеялся удержать. Некая часть его разума приняла потерю как неизбежность. Если вдуматься, смерть не могла разлучить их больше, чем это делала жизнь. Но мальчик – вот чей уход Пэлфри оплакивал со всей силой первоначальной печали, которую не облечь в слова. Прекрасное, умное, счастливое дитя, его родное дитя – как оно могло умереть? Безутешный отец чувствовал себя частью вселенского братства скорби. Нет, он никогда не возлагал на мальчика необычайных надежд, не раздувал своих родительских амбиций. Только бы длилась эта красота, эта полная любви доброта, эта своеобразная, чуть неправильная грация – вот и все, чего Морис невольно просил у судьбы.

Именно из-за смерти Орландо Пэлфри женился на Хильде. Друзья считали их брак загадкой, которая, однако, решалась очень просто. Хильда единственная из окружения Мориса плакала по ушедшему мальчику. На следующий день после погребения (поместив останки жены и сына в семейной гробнице, он окончательно понял, что расстался с ними навек) девушка вошла в кабинет Пэлфри с утренними письмами. Мужчина до сих пор помнил, как она выглядела в тот день: белая блуза, точно у школьницы, тщательно выглаженная юбка –

перед его глазами так и стоял отпечаток утюга на передней складке. Хильда замерла у порога, глядя на Мориса, и вдруг промолвила:

– Ваш мальчик... Ваш маленький...

Лицо ее напряглось, потом исказилось от горя, и по щекам покатались две слезы.

Хильда не часто видела Орlando с няней, когда та ненадолго приносила его в рабочий кабинет, и все же искренне плакала. Сослуживцы выражали соболезнования, отводя взгляды от страданий, которых не могли смягчить. Смерть – событие неблагопристойное. Сочувствие коллег носило привкус настороженности, как если бы Пэлфри страдал не очень приятной болезнью. А эта девушка почтила память Орlando невольными слезами.

И это стало началом. Затем было первое приглашение на обед, и походы в театр, и странное ухаживание, которое лишь усилило взаимное недопонимание между ними. Морис убедил себя, что Хильда поддается обучению, что у нее добрый и незамысловатый нрав, способный удовлетворить его собственные сложные запросы, и что за ласковым, покорным лицом скрывается разум, только и ждущий нежной заботы, чтобы расцвести. Кроме того, новая избранница разительно отличалась от Хелены. Впервые Пэлфри узнал, как лестно принимать, а не давать, быть любимым, а не любить самому. И вот, с неприличной, по мнению друзей, быстротой, пара очутилась в загсе. Бедняжка Хильда мечтала о белоснежном церковном обряде. Скромный обмен контрактами не соответствовал и представлениям ее родителей об истинном браке. Невеста перенесла унижение со стойкостью мученицы. Казалось, больше всего ее ранили подозрительные взгляды работницы загса, возомнившей, что молодая просто-напросто беременна.

Внезапно Морисом овладело беспокойство. Он подошел к высокому окну и посмотрел на площадь. Дождик уже прекратился, успев потрепать кроны платанов и усеять мягкую траву мокрыми листьями. Лето тихо ускользало прочь, словно могло понимать, что творится у зрителя на душе. Пэлфри всегда недолюбливал затишья между академическими годами: останки прошлого учебного периода едва-едва были убраны прочь, а следующий уже нависал над ним грозной тенью. Морис уже не помнил, когда восторг ученого заместило добросовестное исполнение долга, на смену которому в конце концов пришла заурядная скука. В последнее время он с тревогой замечал, что приближение

нового учебного года вызывает в сердце даже не уныние, а нечто вроде досады и дурных предчувствий. Пэлфри уже не видел в студентах личностей, общался с ними лишь на уровне преподаватель – обучаемые, но и тогда между ними не возникало доверия. Стороны будто нечаянно поменялись ролями. Молодежь в неизменной своей униформе – джинсах и свитерах, громадных неуклюжих ботинках, в расстегнутых у ворота рубашках и грубых хлопчатобумажных куртках – следила за ним с дотошностью инквизиторов, ожидающих ошибки еретика. Впрочем, нынешнее поколение студентов ничем не отличалось от прошлых: испорченные, не слишком умные, даже не очень образованные, если под образованием понимать способность изящно и правильно писать на собственном языке и ясно мыслить, они едва скрывали гнев людей, захвативших для себя довольно привилегий для того, чтобы осознать, как мало благ им, в сущности, достанется в жизни, и не желали учиться, ибо уже твердо решили, чему собираются верить.

Со временем Пэлфри становился все более желчным, придирался к любым мелочам. К примеру, его раздражало, как обучаемые сокращают свои имена. Ну что это за Билл, Берт, Майк, Джефф, Стив? Порой преподавателя так и подмывало спросить: неужто приверженность марксистским идеям несовместима с двусложными прозваниями? А их убогий словарь! На последних семинарах, посвященных правам малолетних граждан, студенты постоянно толковали о каких-то «ребятах». Морис же методично и строго к месту употреблял термины «подростки» или «дети». Группу это бесило. И все-таки, не в силах удержаться, он выговаривал студентам, будто нашкодившим третьеклашкам: «В ваших работах я исправил кое-какие грамматические и орфографические ошибки. Считайте меня буржуазным педантом, однако тому, кто намерен учинить общественный переворот, придется убеждать не только наивных невежд, но и образованных, ученых людей. Для этой цели не помешает выработать собственный стиль вместо жутковатой смеси социологического жаргона и словаря, скорее подходящего троечникам из школы для особо одаренных. Между прочим, прилагательное «непристойный» означает «распутный», «неприличный», «грязный» и вряд ли подходит для описания политики правительства, отказавшегося воплотить в жизнь закон о льготах для неполных семей, какого бы порицания ни заслуживал подобный шаг».

Майк Бил, главный подстрекатель группы, получив свое последнее эссе, пробормотал нечто неразборчивое. Кажется, это были слова «урод недорезанный», хотя непохоже: ругательства Майка неизменно включали в себя что-нибудь связанное с фашистами. Теперь Бил уже окончил второй курс. Если повезет, к новой осени он оставит учебу и получит от местных властей какую-

нибудь социальную работу, где, без сомнения, примется вбивать в головы юным бунтарям, что иногда мелкий грабёж с применением насилия – всего лишь ответ бедноты на тиранию капиталистов и стимул для владельцев недвижимости, подыскивающих отговорки, чтобы не платить ренту. Но его место займут другие, и старая академическая машина продолжит скрипеть как ни в чем не бывало. Самое забавное в том, что, в сущности, Морис и Майк придерживались одних и тех же взглядов. Социалист и социолог, Пэлфри чувствовал себя старым воином, давно разуверившимся в идее, за которую борется, однако знать, что идет сражение, и знать свою сторону на поле боя – для него уже было достаточно. И потом, не отступать же после стольких лет!

Он сунул в портфель несколько писем, которые нашел поутру на столе. Одно было от члена парламента, социалиста, желающего заручиться поддержкой на всеобщих выборах в начале октября. Не будет ли Морис так любезен принять участие в партийных теледебатах? Пожалуй, почему бы нет; «ящик» сам по себе освящает личность, попавшую в кадр, дарует известность, а с ней, разумеется, и доверие. Второе письмо содержало очередной призыв подать заявку на кафедру социальной работы в северном отделении университета. Ясно, почему они так носятся с этой кафедрой. В последнее время было много назначений вне поля соцработы. Те, кто возмущался, не понимали одного: главную роль играет качество академической работы и научных исследований, а не предмет, за который взялся кандидат. Учитывая современную борьбу за кафедры, социологам придется предъявить академическую респектабельность вместо того, чтобы гоняться за дешевым и нелепым профессионализмом. Пэлфри все больше раздражала болезненная чувствительность коллег, их неуверенность, вечные жалобы на общество, требующее, чтобы они немедленно исцелили все его недуги, тогда как Морис мечтал излечиться от своего собственного.

Он отложил еще несколько бумаг и запер ящик стола. Вспомнилось, что вечером на ужин зайдут Клегорны. Клегорн был опекуном нового фонда, исследующего причины подросткового бунтарства и способы борьбы с ними, а одна из бывших студенток Мориса как раз подыскивала подобную работу. Вот почему полезно давать ужины почаще: тогда и приглашение «нужного» человека не выглядит явной попыткой к нему подольститься. Закрывая за собой дверь, Пэлфри подумал без особого любопытства, куда это Филиппа могла уйти так рано и не забудет ли вечером украсить цветами стол.

Наконец она вернулась на Ливерпуль-стрит и провела остаток дня, гуляя по городу. Дождь почти уже перестал, и только легкая изморось покалывала разгоряченное лицо Филиппы ледяными иголками. Хотя мостовая сверкала, точно после сильного ливня, и в сточных канавах собралось несколько мелких луж, тяжелых и серых, точно створоженное молоко, дом шестьдесят восьмой выглядел так же, как и в любой скучный летний вечер. Со стороны это возвращение не отличалось от прочих. В кухне, как обычно, горел яркий свет, остальные комнаты были погружены в полумрак, не считая огня, что мерцал из коридора сквозь элегантную фрамугу парадной двери.

Кухня располагалась на нижнем этаже, окнами на улицу, столовая же выходила двустворчатыми стеклянными дверями в сад. Всю верхнюю часть дома занимала гостиная. Оттуда тоже можно было спуститься к саду по изящным литым ступенькам. Летними вечерами семья пила кофе во внутреннем дворике, сидя на стульях под смоковницей. Огороженный сад в три десятка футов длиной наполняли ароматы роз. Выкрашенные в белый цвет кадки с геранью кроваво багровели в предзакатные часы и бледнели, когда во дворике зажигались огни.

В кухне свет никогда не выключался, однако Хильда и не думала задерживать занавески. Возможно, ей не приходило в голову, что для внешнего мира она – точно актриса под лучами сценических прожекторов. Филиппа присела на корточки, обхватив перила, и принялась подсматривать за ней. Супруга Мориса уже начала колдовать над ужином. Готовила она с особой торжественностью, словно верховная жрица, исполняющая священный обряд. Устремив в поваренную книгу немигающий, оценивающий взгляд художника, который примеряется к модели, Хильда быстро коснулась ладонью каждого из продуктов, разложенных заранее, словно дары для благословения. Ежедневно она вычищала и тщательно убирала весь дом, но так, будто бы тот не имел к ней никакого отношения. И только здесь, в организованной путанице кухни, она ощущала себя в своей стихии. Отсюда, из-под двойной защиты зарешеченных окон и зубчатой ограды над ними, миссис Пэлфри взирала на мир – и видела лишь обрывочный поток чьих-то спешащих ног. Ее светлые длинные волосы, обычно распущенные по плечам, на сей раз были убраны со лба двумя пластмассовыми гребенками. В неизменном белоснежном фартуке она казалась юной и незащитной, точно школьница на практическом экзамене или новая кухарка перед первым ответственным ужином. Кстати, служанку Хильда напоминала не потому, что сама готовила, – многие богатейшие дамы от скуки делали то же, это стало модным ремеслом, едва ли не культом. Должно быть, дело в ее вечно смятенных глазах, которые словно ждали – да нет, почти

напрашивались на упрек и тем самым придавали сходство с женщиной, зарабатывающей на жизнь прилежным трудом.

Филиппа совсем забыла о званом ужине. Ага, теперь ясно, что будет на первое. Шесть больших, красивых артишоков возлежали посреди стола, ожидая, когда их опустят в кастрюлю. Залитая светом двойной флуоресцентной лампы, кухня выглядела родной и знакомой, словно картинка на стене в детской. Плетеное кресло с потрепанной лоскутной подушкой стояло в одиночестве. Второе так и не потребовалось: ни Морис, ни Филиппа не имели привычки отдыхать на кухне, пока Хильда готовила. На полке теснились помятые книги рецептов в засаленных обложках. Рядом с настенным телефоном висел календарь с крикливой голубой фотографией гавани Бриксхэма[8 - Бриксхэм расположен на юго-западном побережье Великобритании; небольшой живописный городок, раскинувшийся на холмах, окружающих гавань, которая является одним из основных рыболовецких портов и курортных мест.]. Работал переносной черно-белый телевизор: цветной находился в гостиной. Девушка не могла припомнить, чтобы миссис Пэлфри когда-нибудь сидела там. Да и зачем? Ведь это была не ее гостиная. Все в ней напоминало о прежней жене Мориса или соответствовало его личному вкусу.

Филиппа не слышала, чтобы приемный отец хоть раз заговорил о Хелене, однако подозревала, что чувства Хильды или неисцеленные сердечные раны здесь ни при чем. Она давным-давно поняла: Морис не из тех, кто выплескивает эмоции наружу, делится своей внутренней жизнью с другими. Время от времени Филиппа вяло интересовалась личностью Хелены, окруженной из-за ранней смерти печальным очарованием и благородством. Лишь однажды девушке довелось найти ее портрет. Это случилось на распродаже в Оксфорде, устроенной в помощь благотворительной организации «Оксфам». Кто-то из родителей пожертвовал целую стопку старых светских журналов. Они расходились особенно быстро. Люди охотно тратили один или два пенни ради мимолетных радостей ностальгии. Пролистывая глянцевые страницы, покупатели довольно хихикали: «Смотри-ка, Молли и Джон в Хенлей-на-Темзе. Бог мой, неужели мы носили такие юбки?»

Копаясь в журналах на лотке, Филиппа с изумлением наткнулась на лицо Мориса. До боли знакомый, он смущенно и бессмысленно улыбался, как человек, захваченный врасплох вспышкой камеры и не успевший выбрать для себя нужное выражение. Фото сделали на свадьбе. Подпись гласила: «Мистер Морис Пэлфри и леди Хелена Пэлфри беседуют с сэром Джорджем и леди Скотт-

Харрис». Но молодые ни с кем не беседовали; они просто глазели в объектив с бокалами шампанского в руках, словно готовились произнести тост в честь краткого мига их новой жизни, увековеченного с помощью эфемерных точек газетной фотографии. Леди Хелена Пэлфри с улыбкой возвышалась над мужем в широкополой шляпе и удивительно короткой юбке. Темные локоны обрамляли уже не юное, костистое, почти страдальческое лицо с густыми бровями.

Филиппа оставила вырезку себе, спрятала в одной из книг и хранила почти год. Иногда она доставала портрет при свете лампы в своей спальне и долго, пристально вглядывалась, силясь разгадать тайну этой женщины, их любви, если та когда-нибудь существовала, их разделенной жизни с Морисом. В конце концов разочаровалась, порвала фото и спустила клочки в унитаз.

И вот теперь с таким же вниманием Филиппа всматривалась через решетки в живую жену приемного отца. Та склонилась над столом и аккуратно разворачивала узкие полоски мясного филе. Похоже, гостей ожидала телятина под винно-грибным соусом. Клегорны непременно похвалят угощение – куда они денутся. Девушка где-то читала, что последняя война окончательно убила сдержанность англичан в отношении пищи. Теперь большинство женщин и порой даже мужчины восхищались блюдами, любопытствовали, обменивались рецептами. Правда, в случае Хильды комплименты становились неумеренными, натянутыми, неискренними чуть ли не до тошноты. Гости будто бы считали своим долгом успокоить, а то и утешить хозяйку, хоть как-то повысить ее самооценку. За все время их брака друзья и знакомые мужа обращались с ней так, словно кухня была ее единственной страстью, первой и последней темой, которая могла ее затронуть. И вот, пожалуй, этим и кончилось.

На улице слышались шаги. Она поднялась и резко вздрогнула: как затекли ноги! Голова закружилась, пришлось ухватиться за длинные шипы ограды, чтобы не упасть. Только сейчас Филиппа вспомнила, что семь часов бродила по улицам, паркам, церквам и лондонской набережной, но ни разу не остановилась перекусить. Превозмогая слабость и боль, она поднялась по ступеням и повернула ключ в замке парадной двери.

Она миновала прихожую с двойными витражными панелями и, очутившись в перламутровой тиши холла, вдохнула знакомый запах лаванды и свежей краски – слабый, еле уловимый, почти что плод воображения. Полированные перила из бледного красного дерева, опираясь на элегантные балюстрады, полукругом уходили кверху и увлекали взгляд к витражам лестничной

площадки. Обе панели продолжали тему, заданную еще в холле: справа – женщина в гирлянде из цветов осыпала землю спелыми плодами осени, слева – седой, как сама зима, старец с тяжелым посохом нес вязанку хвороста. В прежние времена неловкий эстетизм и старомодный шарм сих творений заслужили бы одну лишь презрительную ухмылку; Морис и теперь недолюбливал витражи, однако и в страшном сне не расстался бы с ними, зная с точностью до фунта их огромную стоимость. Зато часть холла была обставлена по его личному вкусу и предпочтениям первой жены. Низенькую полку блестящего белого дерева украшали исторические групповые статуэтки из Стаффордшира[9 - Керамисты Стаффордшира славились поливной керамикой в народном стиле и тонкостенным фаянсом, который назывался «трубчатые глины»]: вот бледный, чуть удлиненный Нельсон в начищенных до блеска ботинках умирает на руках у своего адъютанта Харди; вот Веллингтон с фельдмаршалским жезлом взгромоздился на боевого коня по кличке Копенгаген; Виктория и Альберт[10 - Самая большая любовная интрига девятнадцатого столетия – история любви и недолгого брака королевы Виктории и принца Альберта Саксен-Кобургского.] красуются на фоне здания Великой Выставки[11 - По распоряжению принца Альберта доходы от Великой Выставки 1851 года пошли на строительство новых музеев, библиотек, школ и выставочных залов.] со своими белокурыми, ангелоподобными детками; маяк высится над бурным морем из шершавых волн, и Грейс Дарлинг[12 - Дарлинг, Грейс (1815–1842) – дочь смотрителя маяка, вместе с отцом прославившаяся спасением людей с затонувшего судна в 1838 г. После ее смерти Вордсворт написал в ее честь поэму «Грейс Дарлинг».] налегает на весла. Прямо над полкой висели, казалось бы, безо всякой связи со скульптурами, произведения японских художников восемнадцатого века в изогнутых рамках из розового дерева: Нобукацу, Кикугава, Токохуми. Впрочем, они не разрушали главной идеи – сочетания силы с изяществом. И к тому же подобно стаффордширским поделкам, с которых Филиппе уже в ранние годы доверяли смахивать пыль, эти свирепые воины с кривыми мечами, бледные луны среди цветущих кустарников, нежно-розовые женщины с узкими глазами в светло-зеленых кимоно были неотъемлемой частью ее детства. Неужели они знакомы каких-то десять лет? Где же тогда коридоры иные – забытые, но приходящие к ней в ночных кошмарах? Где черные панели, длинные грязные плащи на дверных крючках, пропахшие капустой и рыбой, где сжимающий сердце ужас чуланчика под лестничной клеткой?

Девушка не раздеваясь прошла на кухню. Хильда вынесла из кладовой коробку с яйцами.

– Хорошо, что ты дома, – обронила она, не взглянув на приемную дочь. – На ужин придут Клегорны. Поможешь со столом и цветами, дорогая?

Девушка ничего не ответила. Ее охватило какое-то странное онемение чувств; гнев улетучился, осталась лишь слабость. Может, оно и к лучшему: лишней раз не сорвется, не дрогнет голос. Да, теперь она полностью овладела собой. Филиппа притворила дверь и закрыла ее своим телом, как бы отрезала приемной матери путь к отступлению. Когда, не получив ответа, Хильда удивленно подняла глаза, девушка проговорила:

– Почему вы скрыли, что моя мать – убийца?

Все-таки надо было получше держать себя в руках. Филиппу едва не пробрал нервный хохот, когда женщина в фартуке беззвучно захлопала ртом и широко раскрыла глаза, точно само воплощение ужаса; руки ее раздались в стороны, и яйца, как при замедленной съемке, полетели на пол. Одно, естественно, выпало из упаковки. Из расколотой скорлупы вытек целый желток и застыл крохотным куполом посреди дрожащей клейкой лужицы.

Филиппа невольно шагнула вперед.

– Не наступай! Не наступай! – взвизгнула Хильда.

А сама со стоном схватила тряпку и, опустившись на колени, принялась размазывать желтое пятно по черно-белым плиткам.

– Скоро придут Клегорны, – бормотала она, – а у меня до сих пор не накрыто. Я знала, что ты докопаешься. Я его предупреждала. Кто тебе сказал? Где ты пропадала весь день?

– Для начала я потребовала свидетельство о рождении, на которое уже имею право. Затем наведальась на Банкрофт-Гарденс, сорок один. Хозяев не было; мне все рассказали соседи. Потом я долго гуляла по городу, а теперь вот вернулась домой. Вернее, пришла сюда.

По-прежнему оттирая плитки от грязи, миссис Пэлфри яростно выпалила:

– Не хочу говорить об этом, по крайней мере сейчас! На ужин придут Клегорны. Это важно для твоего отца.

– Не вижу, что здесь такого. Если они от него чего-то хотят, значит, вряд ли станут ругать твою стряпню. А если папаша вздумал нагреть на них руки... Зачем тратить время на людей, расположение которых зависит от того, где вкуснее телятина: у нас или в какой-нибудь забегаловке в Дордони... Послушай, – терпеливо продолжала девушка после паузы, – поговорим обо мне. Почему вы не сказали?

– Разве же можно? Такие ужасы! Они ведь убили ту девочку. Сначала изнасиловали, потом прикончили. Двенадцатилетнюю! Зачем тебе было знать? Разве ты виновата? И думать не хочу! Кошмар, настоящий кошмар! Не обо всем же можно говорить при детях! Это слишком жестоко.

– Жестоко? Я бы все равно узнала!

Хильда вскинулась и чуть ли не прокричала, защищаясь:

– Да, жестоко и неправильно! Сейчас ты вон какая спокойная. Большая выросла. У тебя была собственная жизнь, сложился свой характер. Прошрое тебе уже не навредит. Если б ты взаправду переживала – не говорила бы так. Вижу, вижу, ты взвинчена и злишься, а все-таки боли не чувствуешь. Для тебя это как бы нереально. Ты – посторонний зритель на этом спектакле. Думаешь, я не видела, как ты подсматривала из сада? Вот так и всю жизнь. Тебе же плевать, что она сделала с той малышкой. Великолепную Филиппу это не трогает. И ничто другое – тоже.

Девушка изумленно уставилась на приемную мать, сбитая с толку внезапным приступом ее сообразительности. Потом воскликнула:

– Но я хочу, чтоб меня это трогало! Хочу что-то чувствовать!

«Так и будет, – пролетело у нее в голове. – Я просто не успела поверить. Все мое прошлое – только миф. Надо смириться, привыкнуть к новой точке зрения. Потребуется время. Потом я опять вернусь к придуманной сказке, к тому таинственному отцу, что шагал рядом со мной по лужайке Пеннингтона. Чужакам Дактонам уже не занять его место в моем сердце».

Хильда полоскала тряпку под краном и бормотала сквозь плеск воды:

– Ну вот, смотри, когда ты вошла, то уже знала, что сказать. Верно? Небось, репетировала в поезде. Только не говори, что ты в самом деле несчастна. А если да, то могло быть и хуже. Например, ты могла бы не поступить в Кембридж. Вся в отца: вы оба не выносите провалов.

– В Мориса, ты хотела сказать. Я понятия не имею, похожа ли на родного отца. Но собираюсь выяснить.

– Дурацкий парламент, дурацкий акт об усыновленных! Это настоящее предательство по отношению к приемным родителям. Когда мы брали тебя, то думали, ты никогда ничего не узнаешь.

«Когда мы брали тебя». Значит, вот как Хильда воспринимала ее все время: как обузу, ответственность, бремя? Может, она вовсе и не хотела приемную дочь? Действительно, зачем? Беспомощный, зависимый, отзывчивый младенец еще мог бы утешить разбитое материнское чувство. А что за радость от взбалмошной, обиженной восьмилетней девчонки, родители которой внезапно исчезли? Конечно, ученый-социолог нуждался в материале для экспериментов, но идея наверняка принадлежала Хильде. Должно быть, она переживала из-за своей бездетности. Мориса вряд ли занимали подобные вопросы. Однако, раз уж супруга надумала взять себе игрушку, пусть это будет ребенок с развитым интеллектом, зато из самой ужасной семьи. По крайней мере мистер Пэлфри получит возможность воспитать его во славу социологической теории. Так он скорее всего рассуждал. Странно, что любящий папа не выбрал еще одну особь женского пола, похожего возраста и умственного уровня, чтобы проследить их совместный прогресс. В конце концов, любому опыту не повредит проверка. Ах, как они, должно быть, наслаждались общим секретом! Не это ли возбуждение заговорщиков, ожидающих разоблачения, скрепляло столько лет нелепый брак?..

Девушка прикусила губу и сказала только:

– Закон и раньше позволял усыновленному ребенку по достижении совершеннолетнего возраста получить свидетельство о рождении. Просто не все об этом знали.

– Но ты бы этого не сделала! И даже если бы надумала, нас бы предупредили. Мы не допустили бы... А пусть и узнала бы – все не так страшно, как в детстве, маленькой-то!

– А сколько вы мне нарасказывали?! Дескать, мать была служанкой в Пеннингтоне и умерла при родах... Вместе сочиняли?

– Нет, я одна. Морис предлагал говорить, мол, знать ничего не знаем, а я... Надо было что-то отвечать. Ты постоянно спрашивала. Как-то само придумалось.

– А письмо, которое мама просила мне вручить в двадцать один год?

Хильда широко раскрыла глаза.

– Письмо? Какое письмо?

Выходит, это уже ее собственная фантазия. Вдвоем они измыслили для Филиппы новое прошлое, приукрасили как могли: тут мелкой подробностью, там – живописным мазком местного колорита, обрывками воображаемых бесед, пейзажами, описаниями... Случалось, девочка так доставала приемную мать вопросами, что та с раздражением замыкалась в себе, но Филиппа списывала ее досаду на нежелание вспоминать Пеннингтон и прежнюю жену Мориса. Впрочем, следует отдать Хильде должное: история получилась правдоподобная, без сучка без задоринки. Горничная в Пеннингтоне произвела на свет внебрачное дитя и вскоре после родов умерла. Младенца выкормила деревенская жительница, которая тоже внезапно скончалась, и девочку передали приемным родителям в Лондон. Морис прослышал о ней во время очередного визита в имение. Схоронив свою первую супругу, он условился с Хильдой взять ребенка на воспитание. Через полгода малышку удочерили официально.

Опровергнуть выдумку было некому. Девять лет назад граф продал Пеннингтон, а сам сбежал на юг Франции, подальше от гнета налогов и притязаний бывших жен. В деревне из прежних слуг почти никого не осталось, а уж в особняке и подавно. Имение перешло к одному арабу и с тех пор было закрыто для широкой публики. Действительно, не подкопаешься. Мало того: девочке и не приходило в голову сомневаться. Рассказни Хильды слишком хорошо вязались с ее личными грезами. Мы верим тому, чему желаем верить. Даже

теперь какая-то часть ее разума упорно не хотела отречься от красиво сплетенной истории.

Филиппа с горечью произнесла:

– Не ожидала от тебя такой бурной фантазии. Тебе бы только присяжных в суде обманывать. Я-то думала: почему она увиливает от разговоров о моем прошлом? Наверно, не любит вспоминать Пеннингтон... А оказалось... Приятно было столько лет водить меня за нос, да? Хоть какое-то удовольствие от общения с ребенком, которого тебе навязали на шею!

– Неправда! – закричала приемная мать. – Я хотела тебя! Мы оба хотели! Когда я поняла, что не смогу родить Морису ребенка...

– Подумаешь! Как будто оргазм не сумела доставить. Если это все, ради чего он на тебе женился – а иначе для чего же еще? – то я вообще удивляюсь, как он прежде не потребовал справку от гинеколога...

Парадная дверь негромко стукнула.

– Твой отец! – с отчаянием, со слезами на глазах воскликнула Хильда, перепуганная, словно ждала домой пьяного мужа-громилу. – Морис вернулся!

И она метнулась к подножию лестницы, взывая:

– Морис! Морис! Иди сюда!

Шаги затихли, потом осторожно двинулись вниз. Мистер Пэлфри встал на пороге, вопросительно глядя на обеих.

– Она знает! – вскричала Хильда. – А я предупреждала! Филиппа раздобыла свидетельство о рождении. Она ходила на Банкрофт-Гарденс.

– И сколько тебе известно? – промолвил Морис.

– Разве мало того, что я дочь насильника и убийцы?

«Хорошо хоть, они не любят меня, – подумала девушка. – А то бы, чего доброго, принялись жалеть, полезли обниматься, утолили бы мою злость и обиду».

– Извини, Филиппа, – ровным голосом произнес отец. – Полагаю, рано или поздно этот день все равно настал бы.

– Ты должен был рассказать мне.

Пэлфри спокойно подвинул артишоки и положил портфель на стол.

– Даже если я соглашусь с тобой – а это не так, – нам просто не подворачивалась подходящая минута. Сама посуди, когда ты предпочла бы услышать правду? Сразу после удочерения? Пока привыкала к нашему дому? Пока боролась с подростковыми проблемами? Или когда сдавала экзамены? Десять лет пролетают очень быстро, особенно если у тебя сплошные детские кризисы. Бывают новости, с которыми лучше не спешить.

– Где она сейчас?

– Твоя мать? В Мелькум-Гранж, тюрьме открытого типа неподалеку от Йорка. Почти через месяц ее выпускают.

– И ты знал!..

– Разумеется, меня интересовало, когда эта женщина выйдет. Но и только. Я за нее не отвечаю. И не могу ничего для нее сделать.

– Зато я могу. Напишу, приглашу к себе. У меня накоплены деньги на поездку в Европу. Сниму квартиру в Лондоне, буду присматривать за матерью хотя бы месяца два, пока не отправлюсь в Кембридж.

Внезапные слова слетели с губ девушки помимо ее воли, однако мысль показалась Филиппе единственно правильной. Так она и поступит. Так она и собиралась поступить с той минуты, когда услышала, что мать жива. Сердце, конечно, подсказывало, что истерический жест породило не столько сострадание к неведомой родственнице, сколько злость на Мориса, беспомощность и запутанные, полуосознанные желания. Однако не время

думать о причинах, подвигнувших ее на этот поступок, оправдывать собственный эгоизм.

Морис отвернулся и неожиданно жестко произнес:

– Опасная и глупая затея. Опасная для вас обеих. Ты ничем ей не обязана. В день удочерения она утратила все права на тебя. Эта женщина ничего не сможет тебе дать.

– При чем здесь обязательства? И ты ошибаешься. Я получу от нее то единственное, чего желаю. Знания. Информацию. Прошое. Эта женщина, как ты выражаешься, поможет выяснить, кто я такая. Неужели не понятно? Она моя мать! От этого никуда не деться, как и от ее преступления. Не могу же я не искать встречи с мамой! Чего ты хочешь? Чтобы я все забыла? Будто ничего и не случилось? Сочинила себе новую сказочку? Вы с Хильдой довольно кормили меня баснями.

Хильда не то всхлипнула, не то фыркнула. Отец развернулся и медленно взял портфель со стола. Судя по виду и голосу, Мориса вдруг охватила усталость.

– Потолкуем после ужина. Досадно, что гости придут именно сегодня, но за какой-нибудь час мы от них отделаемся. Я же говорю, для подобных вестей вечно не хватает времени.

5

Филиппа наряжалась очень тщательно. Не ради каких-то там Клегорнов и Габриеля Ломаса, которого пригласили для ровного счета, но для себя самой выбрала она любимую вечернюю юбку из тонкой плиссированной шерсти и закрытую блузку бирюзового цвета. В такой одежде можно ощущать себя актрисой на сцене, кроме того, она не требует чересчур осторожного обращения и на ощупь очень приятна. Чего еще желать? Потом девушка старательно уложила волосы: расчесывала их, затянула тугим узлом на затылке и накрутила влажным пальцем две тонкие пряди у щек. Постояла, придирчиво изучая свою внешность в большом зеркале. «Вот как я себя вижу». Ну а другие?

Сердце на удивление ровно билось; продолговатое, худощавое лицо с резкими скулами сохраняло ясный медовый оттенок, а взгляд оставался безоблачным. Честно говоря, Филиппа почти ожидала, что зеркало закачается и поплывет перед глазами, словно изображение на волнах озера. Девушка протянула руку, и пальцы осторожно коснулись холодного стекла.

Потом Филиппа медленно прошлась, пытливо глядя вокруг, точно чужая. Когда-то здесь располагались два смежных чердака с низкими потолками, затем верхний этаж перестроили под ее комнату, которую Морис обставил целиком по вкусу приемной дочери. В отличие от остального дома тут была современная обстановка: ничего лишнего, сплошная легкость, простор и чувство парения. Окна с обеих сторон заливали пространство светом. Южное выходило на огороженный садик, на каменный внутренний двор и платаны, за ними пестрели бесчисленные крыши Пимлико... Вот за этим столом Филиппа учила уроки, готовилась поступать в Кембридж. А на этой кровати светлого дерева они с Габриелем на ощупь, извиваясь, впервые неудачно пытались заниматься любовью. Впрочем, какое нелепое выражение. Чем бы они там ни занимались, но только не любовью. Пару раз он сказал, сначала нежнее, потом уже сквозь зубы: «Не думай ты о себе. Хватит беспокоиться о своих чувствах. Отпусти себя на волю».

Именно этого она никогда не умела. Можно ли отпустить то, в чем до конца не уверен, то, чем, по сути, толком и не владеешь? Она боялась даже на миг утратить контроль над собственным «я».

Странно, что первое интимное фиаско не привело к отчуждению. Габриель подобно Филиппе не признавал поражений. Разочарованная, недовольная, когда все кончилось, она даже не пыталась притвориться из соображений целесообразности или великодушия. Поздновато, не ко времени вспомнилось предупреждение его сестры. Сара как-то раз изрекла холодно, почти со злорадством: «Видела розетки с переменным током? Вот и братишка у нас такой. В принципе мелочь, а все-таки знать не мешает. Прежде чем кофеварку врубать».

Надев халат, Филиппа поинтересовалась:

– Чего тебя разобрало? Хотел доказать, что можешь и с девушками?

– А тебя? – огрызнулся парень. – Хотела доказать, что вообще можешь?

Хотя, если уж на то пошло, после кошмарного вечера молодой человек вел себя по-другому: нежнее, заботливее. Девушка в ответ отлично играла отведенную ей роль, подозревая, что вряд ли скроет от ухажера истинные причины своего поведения. Просто в списке нужных и красивых вещей, которые пригодятся в Кембридже, он занимал одну из верхних строчек. Разве будущей студентке помешает прихвастнуть в компании ровесников столь завидным приобретением, как богатый, остроумный, несравненный Габриель Ломас?

Комнату переделали, когда ей исполнилось двенадцать. Утро следующего дня – это была суббота – навсегда врезалось в память Филиппы, ибо научило ее важному жизненному уроку: за незаслуженное счастье тоже нужно платить. Она садилась за новый стол писать историческое эссе, когда Хильда поднялась вместе с прислугой, миссис Купер, чтобы та поделила ее восторги по поводу детской. Миссис Пэлфри посвящала ее во все домашние события, отчаянно притворяясь, что у них прекрасные отношения. А Купер неколебимо продолжала называть хозяйку «мадам», словно желала показать: мол, за десять шиллингов в час и бесплатный обед можно купить раболепие, но не дружбу. Она, конечно, поглазела вокруг и привычным бесстрастным тоном изрекла:

– Очень мило, мадам, это уж точно.

Зато, как только Хильда вышла из комнаты, служанка бросилась к девочке и, дохнув на нее какой-то кислятиной, прошипела:

– Подкидыш! Надеюсь, ты хоть скажешь им спасибо. Что же такое творится? Приличные дети ютятся по четверо чуть не в сарае, а ты, безродная, – в хоромах прохлаждаешься, когда твое место в детдоме! – И тут же, без паузы, любезным тоном окликнула хозяйку: – Я сейчас, мадам!

Потрясенную Филиппу охватила ярость. Она готова была взорваться, однако уже научилась держать себя в руках. Простые слова, как выяснилось, бьют сильнее кулака, сильнее истеричного визга.

– Нечего было столько рожать, раз не можете прокормить, – промолвила девочка ледяным голосом. – Желая вашим детям всю жизнь просидеть в сарае, особенно если они похожи на вас.

В тот же день миссис Купер уволилась без объяснений, и Хильда записала на свой счет еще один провал.

Книжные полки. Филиппа провела рукой по многочисленным корешкам. Классическая библиотека семьи, живущей выше среднего достатка. С таким набором немудрено сдавать на пятерки литературу, а если повезет, и поступить в Кембридж. По этим томикам трудно было бы определить вкусы хозяйки, разве только понять, что Тургенева она предпочитает Толстому, Пруста – Флоберу, а Генри Джеймса – Диккенсу. Правда, здесь никто не нашел бы потрепанных обложек, любимых книжек детства, передаваемых из поколения в поколение, – все выглядели купленными специально для привилегированного ребенка.

Полки, уставленные знаниями, мудростью, мечтами, которых достаточно для целой жизни... Для какой жизни? Странное дело: Филиппа ни строчки, ни слова не написала на этих страницах, и все же именно к ним, к собранию чужих мыслей и переживаний, прибегает она в поисках своего «я».

«Даже наряжаясь, – подумала она, – мы надеваем себя же. Вот, например, нагая, в ванной, кто я есть? Тело можно взвесить, описать, измерить, изучить каждый физический процесс в отдельности, дать ему имя, настоящее или вымышленное, разложить жизнь по полочкам... А как же я-то? Ведь во мне ничего нет от Мориса или Хильды. Они тут ни при чем, они лишь предоставили подсказки для шарады: одежду, книги, творения искусства. И даже этот внутренний монолог – плод выдумки, не более. Какая-то часть меня, та, что однажды начнет писать книги, внимательно следит за мною же, подыскивающей нужные слова, выбирающей, что чувствовать и как себя вести».

Она распахнула дверцы стенного шкафа и с грохотом сдвинула вешалки. Платья и юбки заколыхались, донесся знакомый слабый аромат – должно быть, ее собственный. Филиппа любила дорогие наряды. Покупки она делала редко, но выбирала весьма старательно. Синтетике предпочитала шерсть и хлопок.

Она подошла к пробковой, угольного цвета, доске для записок, повешенной над столом. Пестрые открытки, купленные во время поездок или в художественных галереях, учебное расписание, газетные заметки о предстоящих выставках, aides-memoire[13 - Памятная записка (фр.)], два приглашения на праздники. Филиппа присмотрелась к открыткам-репродукциям. Утонченный портрет Сесилии Герон[14 - Герон, Сесилия –

младшая дочь Томаса Мора.] работы Ганса Гольбейна[15 - Хольбейн (Гольбейн), Ханс Младший (1497 или 1498-1543) – немецкий живописец и график. Представитель Возрождения.]; У. Б. Йитс[16 - Йитс, Уильям Батлер – ирландский поэт и драматург, Нобелевская премия по литературе, 1923 г.] на гравюре Огастеса Джона[17 - Джон, Огастес Эдвин (1878-1961) – английский живописец. Крупный мастер реалистического портрета и бытового жанра.]; обнаженная фигура кисти Ренуара из музея Же-де-Пом[18 - Национальная галерея Же-де-Пом в Париже.]; акватинта[19 - Acquainta (ит.) – метод гравирования, основанный на протравливании кислотой поверхности металлической пластины с наплавленной асфальтовой или канифольной пылью и с изображением, нанесенным с помощью кисти кислотоупорным лаком.] Фарингтона[20 - Фарингтон, Джозеф (1747-1821) – английский живописец.] «Лондонский мост. Тысяча семьсот девяносто девятый год»; ну и картина Джорджа Брехта[21 - Брехт, Джордж (р. 1925) – всемирно известный американский художник.]. Какой капризный, причудливый выбор! Он ровным счетом ничего не говорил о вкусах хозяйки: обычный перечень галерей, в которых она побывала.

В этих самых стенах десять с лишним лет Филиппа сочиняла мифологию своего прошлого; и вот отживший, уличенный во лжи мир ускользает от нее. «А ведь по большому счету ничего не изменилось, – сказала себе девушка. – Я все та же, что и вчера. Да, но кем я была вчера?»

Комната напоминала творение дизайнера в мебельном магазине, где каждая вещь должна намекать на то, что ее никогда не существовавший, созданный фантазией автора владелец якобы с минуты на минуту вернется домой.

Перед глазами всплыло лицо Хильды, склонившейся, чтобы подоткнуть приемной дочери одеяло.

– Куда я деваюсь, когда сплю?

– Ты по-прежнему здесь, в своей кроватке.

– Почему ты знаешь?

– Потому что вижу тебя, глупенькая. И даже могу потрогать.

Хотя вот этого Хильда как раз не любила. Троица жила как бы в отдалении друг от друга, и вина лежала отнюдь не на миссис Пэлфри. По вечерам девочка застывала в постели, будто деревянная, и всегда уворачивалась от обязательного поцелуя. Филиппа не выносила прикосновения влажных губ, после которого Хильда непременно вытаскивала из-под простыни колючее одеяло и совала его приемной дочери под подбородок.

- Это ведь ты знаешь, где я. А я не могу потрогать себя во сне.

- Никто не может. И все-таки ты здесь, в постели.

- А если мне сделают операцию под наркозом? Где я буду тогда - не тело, а я сама?

- Спроси лучше папу.

- А когда умру?

- Попадешь к Иисусу на небеса, - восставала Хильда против атеистических воззрений мужа; впрочем, без особой убежденности.

Девушку снова потянуло к книжному шкафу. Если она и отыщет ответ, то лишь на этих полках. Вот и они, обложка к обложке, - первые экземпляры книг Мориса, подписанные его рукой на имя, навязанное приемной дочери против ее воли. Странно, что при такой трудоспособности ни один из университетов до сих пор не предложил ему кафедру. Возможно, прочие, кто разбирался в науке, чуяли в нем притворщика-дилетанта, не сумевшего полностью отдаться своему предмету. Или все гораздо проще? Их попросту раздражало и отталкивало резкое высокомерие некоторых его публичных заявлений? Студентов наверняка отталкивает. Однако свежие плоды интеллектуальных трудов обладали безупречным - по мнению критиков - стилем, довольно элегантным для социолога, и хотя бы частично объясняли Мориса. А заодно, как оказалось, и его приемную дочь. «Природа и воспитание: взаимодействие наследственности и среды в развитии языковых навыков», «Вредное окружение: социальный класс, язык и интеллект», «Гены и среда: влияние окружения на понятие неизменности объекта», «Обученные неудачниками: классовая бедность и образование в Великобритании». Пора бы ему прибавить еще кое-что: «Усыновление: социологическое исследование взаимодействия среды

и наследственного фактора».

В конце концов, чтобы слегка успокоиться, Филиппа присела и долго любовалась самым дорогим, что у нее было: холстом Генри Уолтона[22 - Уолтон, Генри (1746–1813) – английский живописец.], изображавшим преподобного Иосифа Скиннера вместе с семейством. Она лично выбрала себе этот подарок на восемнадцатый день рождения – за необыкновенную привлекательность и мастерство, а главное, за полное отсутствие налета сентиментальности, присущего более поздним работам великого мастера. Картина воплощала собой всю изысканность, порядок, уверенность и манеры ее любимой поры в английской истории. Преподобный Скиннер и трое его сыновей сидели верхом, супруга с двумя дочерьми – в коляске. Позади располагался их приличный, бесстрастный дом, а впереди тянулась подъездная аллея, тенистая лужайка, усаженная дубами. Вот уж кто вряд ли затруднялся с определением самих себя. Вытянутые лица Скиннеров, их носы с горбинкой не оставляли сомнений в чистоте родословной. И все же герои, запечатленные великой кистью, словно говорили девушке: «Мы жили, страдали, терпели, умерли. Тебе, как и нам, не уйти от общей доли».

6

Гарри Клегорну стукнуло сорок пять, и он уже начинал лысеть, однако по-прежнему сохранял за собой славу многообещающего политического деятеля. Филиппе он так напоминал успешного тори-заднескамеечника, что будущая карьера гостя казалась ей просто неизбежной. Рельефные мышцы, гладкая, смуглая кожа, иссиня-черные волосы – не крашенные ли? Влажный, чуть надутый рот; губы красные, словно обведены помадой. Оставалось только гадать, что связывало столь непохожих мужчин, кроме участия в одних и тех же телевизионных программах. Впрочем, разве требовалось еще что-нибудь? Всякая разница в происхождении, темпераменте, интересах, даже приверженность противоположным политическим философиям тут же блекла в ярких лучах студийных прожекторов, экран крепко спаивал своих избранных воедино.

Боевую раскраску Норы Клегорн немного скрадывали мягкие блики свечей. Лет этак в двадцать она, должно быть, кружила головы тем, кому по душе фарфоровая кукольная прелесть и кто не сумел распознать, что та слишком быстро увянет, ибо держится не на изящных пропорциях, а лишь на свежести юной кожи и бойкой косметике. Глупая женщина безумно гордилась своим

супругом, однако это мало кого раздражало: было нечто подкупающе наивное в ее убеждении, что членство в палате общин и есть вершина человеческих устремлений. По своему обыкновению, ради неофициального ужина гостя разоделась в пух и прах. Безрукавка над пышной бархатной юбкой сверкала металлическими блестками. А запах этой дамы вызывал в воображении Филиппы образ мешка золотых монет, утонувшего в море духов.

Кстати, Габриель Ломас тоже вырядился не по случаю: он единственный из мужчин додумался надеть смокинг. По крайней мере молодой человек сознательно ошеломлял своим видом. Морису он явно нравился – не то вопреки, не то благодаря бурным восторгам по поводу проявлений крайне правого торизма. Это хотя бы отличало Габриеля от большинства студентов мистера Пэлфри. С другой стороны, девушку всегда удивлял чрезмерный интерес парня к ее отцу. Именно от Габриеля она услышала львиную долю того, что знала о Хелене. В памяти Филиппы, словно в архиве, хранились почти дословные записи всех интересующих ее разговоров. Например, обрывок такой беседы:

– Твой отец похож на всех богатых социалистов: в его душе прячется тори, которого он пытается загнать поглубже.

– Не думаю, что Морис подходит под твое описание, – возразила тогда девушка. – Тебя сбил с толку наш образ жизни. Особняк, почти вся мебель и картины унаследованы от первой жены. Папино происхождение безупречно с точки зрения товарищей. Он был почтовым инспектором, образцовым трудягой. Морис никогда не бунтовал, только приспособливался.

– Взять за себя дочь графа – я бы не назвал такой поступок приспособленчеством. Правда, мы говорим о весьма своеобразном графе, можно сказать, белой вороне среди представителей этого класса, но по крайней мере династия и чистота породы вне подозрений. Хотя, конечно, зная леди Хелену, многие удивлялись их браку, пока спустя семь месяцев на свет не появилось дитя, единственный в своем роде недоношенный младенец восьми с половиной фунтов весом.

– Габриель, где ты нахватался таких подробностей?

– Пагубная привычка к мелочным сплетням. Это у меня с детства. Помню, как долгими вечерами в Кенсингтон-Гарденс я слушал няньку и ее дряхлых

подружек. Расфуфыренная Сара едет в нашей семейной, выдавшей виды коляске, я чинно шествую рядом... И мы все дружно наворачиваем круги вокруг старинного Круглого пруда. С ума сойдешь от тоски! Скажите спасибо, что ваши юные годы обошлись без этой отравы.

Ужин начался с артишоков и взаимного поддразнивания между Морисом и Габриелем, который прикинулся, что свято верит, будто бы последняя передача с участием лейбористов и группы молодых социалистов оказалась сорвана усилиями все тех же консерваторов.

– Ах, как невежливо. Впрочем, сомневаюсь, что лишнее выступление прибавило бы им новообращенных. И потом, если они собирались нагнать на кое-кого страху, то преуспели в своем намерении. На моей памяти даже молодые товарищи не потчевали слушателей настолько смехотворной смесью из нелепой философии, классовой нетерпимости и давно опорочившей себя экономической теории. И где, скажите на милость, они набрали актеров с такими гнусными рожами? Золотушные просто! Вот бы провести научное исследование на тему «Прыщавость и левые убеждения». Получился бы занятный проект для одного из ваших бывших студентов, сэр, вы не находите?

– А я думала, выступать будут лейбористы, – удивилась Нора.

Клегорн рассмеялся.

– Хотите добрый совет, Морис? Припрячьте куда-нибудь молодых товарищей хотя бы до конца выборов.

За столом разгоралась неизбежная политическая дискуссия. Филиппа давно заметила, что не может запомнить подобные беседы: в них либо мусолились доводы, уже высказанные на последних теледебатах, либо же отрабатывались реплики для будущих. Поэтому она перестала слушать наскучившие споры и перевела взгляд на Хильду.

Едва успев подрасти, девочка стала смотреть на приемную мать как на поношенное, но еще крепкое зимнее пальто, требующее основательной переделки, изменений, улучшений: то и дело мысленно накладывала на ее лицо макияж, как будто бы краска способна придать выражение тусклым, невыразительным чертам. Даже теперь Филиппа не могла спокойно видеть

Хильду, не изменив в воображении ее прическу или стиль одежды. Примерно год назад, когда миссис Пэлфри потребовалось вечернее платье, она робко предложила девушке пройтись по магазинам вместе. Должно быть, надеялась на эдакий дамский заговор, легкомысленную вылазку, хотела поиграть в дочки-матери. Все закончилось полным провалом. Хильда терпеть не могла витрин, заполненных чем-либо, кроме еды, тушевалась при виде других покупателей, щеголяющих более приличным платьем, и сюсюкала с продавцами; изобилие выбора сбивало ее с толку, а неизбежное раздевание вообще казалось целой трагедией. В последнем из магазинов, куда Филиппа в отчаянии затащила приемную мать, была длинная общая примерочная. Интересно, что за реальный или надуманный телесный недостаток загнал несчастную в самый дальний угол, вынудив переодеваться под покровом собственного плаща, в то время как прочие девушки и женщины преспокойно обнажались до бюстгалтеров? Утратив надежду, Филиппа опустошала целые прилавки, но и это не помогало. На миссис Пэлфри ничто не смотрелось как подобает. В первую очередь потому, что та одевалась без малейшей уверенности в себе, не проявляла никакого удовольствия, стояла с видом бессловесной жертвы, украшаемой на заклятие. В конце концов покупательницы остановили выбор на черной шерстяной юбке – она и висела сейчас на Хильде в сочетании с аляповатой кримпленовой блузкой дурного покроя – и больше уже никуда не ходили вместе. Теперь и не придется, поздравила себя девушка. Однажды попыталась разыграть из себя примерную дочь – и хватит.

Раскатистый, словно на трибуне, голос Гарри Клегорна грубо прервал привычные, по-своему даже уютные пренебрежительные размышления о Хильде, наделенной лишь двумя дарами: стряпать и лгать.

– Вот вы представляете так называемый рабочий класс, да? А ведь большинство членов вашей партии даже не догадываются об истинных чувствах тех, кого якобы защищают. Возьмем, к примеру, старушку с южного берега, коротающую век в одной из ваших блочных высоток; если она боится лишний раз выйти на улицу за покупками или чтобы забрать пенсию, опасаясь бессовестных грабителей, – кому нужна такая воля? Свобода без страха разгуливать по собственному городу, черт побери, гораздо важнее «гражданских свобод», о которых трещат на всех углах члены парламента.

– Будь любезен, разъясни нам, как это более длинные сроки заточения и более суровый тюремный режим сделают жизнь безопаснее?

Нора Клегорн слизнула с пальцев соус и между прочим обронила:

- Все-таки, я думаю, они должны вешать убийц, как раньше.

Слова прозвучали столь буднично, словно речь шла о праве горожан закрывать окна от любопытных соседских глаз. За столом наступила мертвая тишина, как если бы дама разбила что-нибудь очень ценное. Филиппе даже послышался тонкий звон стекла.

- Они? - невозмутимо повторил Морис. - Вы хотели сказать, мы должны. Лично я бы не взвалил на себя подобного рода обязанность и не представляю, кто бы выполнил за меня грязную работу.

- О, Гарри сделает все, что угодно, не правда ли, дорогой?

- Ну, пару-тройку подонков я бы не задумываясь отправил на тот свет.

Разговор, как и ожидалось, перекинулся на самую знаменитую женщину-детоубийцу двадцатого века. Ее имя всплывало в каждой беседе, как только где-то заговаривали об отмене высшей меры наказания - этом камне преткновения для всех либералов. Филиппе казалось, что ее родную мать нарочно продержали в заключении дольше обычного, лишь бы не возбуждать общественное волнение по поводу той печальной знаменитости. Девушка покосилась через стол на Хильду. Миссис Пэлфри низко склонилась над тарелкой, прикрыв лицо двумя прядями волос. Артишоки - удачное начало для досадного обеда, они требуют столько внимания.

- Решив, что казнить убийц неправильно, - разглагольствовал Клегорн, - мы только теперь осознали: оказывается, они не умирают потихоньку в камерах и не испаряются неизвестно куда. Вдобавок кто-то должен о них заботиться, и очень скоро никто не возьмется выполнять неблагодарную работу задешево. А ведь рано или поздно эту женщину придется выпускать. По мне, чем позже, тем лучше.

- Да ведь, говорят, она жутко ударилась в религию? - вмешалась Нора. - Вроде в газетах писали, ее потянуло не то в монастырь, не то ухаживать за прокаженными.

– Бедные прокаженные! – хохотнул Габриель. – Вечно подворачиваются под руку желающим раскаяться! Как будто им своих бед не хватает.

Влажные губы Клегорна облепили сочную сердцевину артишока, точно большой палец младенца. Голос прозвучал приглушенно сквозь льняную салфетку:

– Мне все равно, о ком она заботится, лишь бы держалась подальше от детей.

– Но если эта женщина так переродилась, – вставила Нора, – ей незачем рваться из тюрьмы, верно?

– Да уж, – нетерпеливо поморщился Клегорн. Филиппа не раз обращала внимание, с какой легкостью он прощал жене любые глупости, зато разумных речей из ее уст просто не переносил. – Это последнее, что теперь волнует нашу героиню. В конце концов, камера – самое подходящее место на земле, чтобы творить добро, которого вдруг возжаждала ее душа. Все эти толки о раскаянии – сущий бред. Она с любовничком замучила насмерть ребенка. Если когда-нибудь детоубийца поймет, что натворила... Не знаю, как можно это пережить. Тем более строить планы на будущее.

– Тогда пожелаем ей не каяться, ради собственного же блага, – усмехнулся Габриель. – Однако меня забавляет весь этот шум по поводу преступной души. Понятно, общество вправе наказать убийцу, дабы припугнуть остальных или постараться как-нибудь обезвредить ее после выхода, но разве можно требовать сожаления, мук совести? Этот вопрос останется между ней и ее богом.

– Вот именно, – сказала Филиппа. – Не будучи еврейкой, я не вправе заявить, что прощаю нацистам холокост. Это была бы пустая, высокомерная болтовня.

– Не более, чем утверждение о том, что покаяние касается лишь преступницы и ее бога, – сухо промолвил мистер Пэлфри.

– Уймись, Морис! – усмехнулся Клегорн. – Оставь теологические споры до теледебатов с епископом. К слову, сколько тебе сейчас платят за выступления?

Разговор обратился к новым контрактам и порокам телевизионных продюсеров; детоубийцу благополучно забыли. Хозяева и гости расправились с телятиной, потом – с лимонным суфле, затем перебрались в сад неторопливо пить кофе и бренди. Филиппа уже не верила, что этот безумный день когда-нибудь закончится. Утром она проснулась внебрачной дочерью и вот за какие-то часы стала законной, зато окунулась в пучину кошмара и бесчестья. Девушка словно пережила разом рождение и смерть – две по-своему болезненных стороны одного неумолимого процесса. Теперь же она, опустошенная, сидела за столом на освещенном дворике и мысленно проклинала засидевшихся гостей.

Даже утомление имеет свои границы. Мозг Филиппы вдруг сделался неестественно чистым и ясным, а разум начал цепляться за какие-то мелочи, придавая невероятную важность ляжке бюстгальтера, спустившейся с плеча Норы Клегорн, тяжелому перстню с печаткой, впившемуся в толстый мизинец ее супруга, кроне персикового дерева, серебряной при свете лампы; если протянуть руку и потряхнуть ствол как следует, на всех полился бы дождь из блестящих листьев.

К половине двенадцатого беседа стала бессвязной, поверхностной. Морис и Гарри уладили свои академические дела, и Габриель с полунасмешливой учтивостью откланялся. Однако Клегорны с упорством, достойным лучшего применения, продолжали сидеть за столом. По саду стелилась сырая ночная свежесть, багровое небо покрыли сетью вспухшие вены умирающего дня. Около полуночи назойливая семейка вспомнила, что живет не в этом доме, и потом еще долго-долго прощалась, медленно шагая по тропинке к своему «ягуару». Наконец Филиппа могла свободно пойти к себе.

7

Ни одно из школьных сочинений не давалось девушке с таким трудом, как это письмо. Поразительно: короткий отрывок прозы потребовал на свое составление столько времени, что самые заурядные слова вдруг обрели бесчисленное множество смысловых оттенков, отяжелели от снисходительных намеков, резали ухо бестактностью. Уже само обращение заставило Филиппу серьезно задуматься. «Дорогая мама»? Чересчур навязчиво и отдает самонадеянностью. «Уважаемая миссис Дактон»? Обидная, почти жестокая любезность. «Уважаемая Мэри Дактон»? Ни то ни се, затасканный оборот, признание в собственном бессилии. По долгом размышлении она остановилась на «Дорогой матери».

В конце концов, именно такой и была связь между ними, основанная на первичных, незыблемых биологических узах. Открыто признать ее не означало напрашиваться на большее.

Первые строчки сложились относительно легко. «Надеюсь, – начала она, – это письмо не причинит вам боли. Дело в том, что я воспользовалась своим правом и получила подлинное свидетельство о рождении, после чего отправилась на Банкрофт-Гарденс, где и узнала от соседа, кто вы такая».

К чему говорить лишнее? Кровавое прошлое поднято лишь на миг и с отвращением отброшено.

«Я бы очень желала встретиться, если у вас нет серьезных возражений, и приеду в Мелькум-Гранж, как только вы сообщите удобные день и время для визита».

Вычеркнув прилагательное «серьезных», Филиппа задумалась над определением «удобные», но потом решила оставить его. Предложение не совсем устраивало ее, зато по крайней мере верно и коротко передавало суть.

Со следующей частью письма опять возникли загвоздки. «Освободиться», «выпуститься», «выйти», «вернуться на волю» – все эти выражения казались бранными, а без них обойтись было бы сложно. Девушка решилась и быстро набросала черновой вариант:

«Не хочу навязываться, однако если вам некуда будет... негде будет... если вы еще не определились с планами на будущее после того, как покинете Мелькум-Гранж, то можете переехать ко мне».

Какая холодная и надменная концовка! Словно приглашение для нежеланного гостя. Девушка попробовала снова:

«В октябре я поступаю в Кембридж и надеюсь до этого снять квартиру в Лондоне на пару месяцев. Если вы еще не определились с планами на будущее после того, как покинете Мелькум-Гранж, и хотели бы разделить со мной жилище, меня бы это устроило; впрочем, вы не обязаны соглашаться».

Филиппе вдруг пришло в голову, что мать может беспокоиться по поводу оплаты. Много ли денег дают преступникам, отсидевшим свое и выходящим на свободу? Надо бы разъяснить: мол, деньги не потребуются. Она взялась было писать, что ее предложение не связывает мать никакими обязательствами, но безликая коммерческая нота, прозвучавшая в этой фразе, напоминала рекламу из торгового каталога. И потом, как же совсем без обязательств? Родная дочь действительно кое-чего желает от матери, просто деньги здесь ни при чем. Ладно, подробности подождут до личного разговора.

Филиппа закончила абзац:

«Это будет небольшая двухкомнатная квартира с кухней и ванной, хотя, конечно, я поищу что-нибудь удобное, поближе к центру».

Удобное для чего? И как понимать центр? Королевский оперный театр «Ковент-Гарден», магазины Уэст-Энда, рестораны, театры? Какого рода жизнь она предлагает, в каком окружении представляет себе незнакомку, которая скоро выйдет на волю, если только отмену смертной казни за убийство и вечное бремя воспоминаний о мертвом ребенке можно назвать волей?

Она переписала все набело, поставила подпись: «Филиппа Пэлфри» – и внимательно перечла каждую строчку. Лицемерие, сплошная фальшь. Докопается ли мать до правды сквозь эти неискренние слова? Выбора у нее нет. Мэри Дактон снова в розыске – и ей не увернуться. Встреча неизбежна: не сейчас, так после.

Наверное, можно было проявить больше честности, а вместе с тем и человечности. Выложить жестокую, голую правду, например:

«Если тебе некуда деться, не хочешь ли разделить со мной квартиру в Лондоне? Только до октября, пока я не отправлюсь в Кембридж? Я ведь не собираюсь менять ради тебя всю свою жизнь. Тебе нужно жилье, а мне – информация. По-моему, честный обмен. Для начала дай знать, когда можно будет наведаться в Мелькум-Гранж и потолковать».

За дверью слышались шаги: кто-то поднимался по лестнице. Раздался негромкий стук. Значит, это Хильда. Морис никогда не стучался – должно быть, перенял привычку Хелены.

На пороге стояли оба. Смущенные, робкие, точно делегация просителей, только в халатах. Она – в цветастом нейлоне, он – в тонкой шерстяной ткани багряного оттенка. Девушке вспомнились детские купания, запах мыла и присыпки.

– Филиппа, нам надо поговорить, – сказал приемный отец.

– Я устала. Уже давно за полночь. И что здесь обсуждать?

– По крайней мере не принимай никаких решений, пока вы не увидите, не пообщаетесь...

– Я уже написала ей. Завтра отправлю – то есть уже сегодня. Приглашение сразу обесценится, если не сделать его до нашей встречи. Мы же не на рынке, а она – не товар, чтобы ее заранее осматривать.

– Получается, ты способна взять на свою шею незнакомую женщину, которая ничего для тебя не сделала, которая превратится в обузу и, возможно, даже не понравится тебе, – и это на недели, на месяцы, а то и на целую жизнь? Я уже молчу о том, что она своими руками убила ребенка. Не донкихотствуй, Филиппа. Не капризничай, точно маленькая.

– Я вовсе не хочу сажать ее себе на шею.

– Именно хочешь. Ты ведь не секретаршу нанимаешь. Ту хоть, когда не угодит, можно выгнать, а здесь увольнительной запиской не обойдешься. И как это, по-твоему, называется?

– Разумным подходом. Я всего лишь помогу ей устроиться на первые месяцы. К тому же это просто предложение. Может, она и не захочет меня видеть, не то что делить квартиру. Может, у нее другие планы. А если нет, я все равно свободна до самого октября. Пусть у нее хотя бы будет выбор.

– Думаешь, ей и правда некуда податься? Не беспокойся, государство заботится о бывших заключенных; без крыши над головой их никто не оставит.

– Да и есть ведь общежития! – нервно вмешалась Хильда. – Я слышала, они довольно приличные. Что, если ей поселиться там, пока не устроится

на какую-нибудь работу?

«Говорит так, как будто мою мать раньше времени выписывают из больницы», – мелькнуло в голове Филиппы.

– Еще она может въехать к подруге по камере, – вставил Морис. – Вряд ли все эти годы она провела в полном одиночестве.

– Ты имеешь в виду – к любовнице? Лесбиянке?

– Это общеизвестный факт, – раздраженно бросил отец. – Ты ровным счетом ничего о ней не знаешь. Позволив тебе исчезнуть из своей жизни, твоя мать, несомненно, решила, что так будет лучше. Сделай для нее то же самое. Тебе не приходило на ум, что ты – последний человек, которого этой женщине хотелось бы снова увидеть?

– Ей достаточно сказать лишь слово. Я потому и написала сначала: не хочу появляться в тюрьме без предупреждения. Кроме того, она рассталась со мной из-за того, что не было другого выбора.

– Ты не смеешь просто так уйти! – всхлипнула Хильда. – Что подумают люди? Что мы скажем твоим друзьям, Габриелю Ломасу?

– При чем тут он? Если спросит, говорите: путешествует за границей. Я ведь так и собиралась поступить.

– Но тебя непременно увидят в Лондоне! Увидят вместе с ней!

– И что? По-вашему, у нее на лбу пылает каинова печать? Я придумаю, как ответить вашим друзьям, если вас так беспокоит их мнение. Сами подумайте, это всего лишь на пару месяцев. Люди время от времени уезжают из дому.

Морис прошелся по комнате, остановился перед холстом Генри Уолтона и произнес, не оборачиваясь:

– Что ты читала об убийстве?

– Ничего не читала. Я знаю, она задушила девочку по имени Джули Скейс, изнасилованную моим отцом.

– Ты не просматривала газетные репортажи?

– Нет, мне некогда копаться в архивах.

– Тогда послушай совет: прежде чем совершить глупость, полистай вырезки той поры, изучи протокол, собери все факты...

– Факты мне уже известны. Их бросили мне в лицо не далее как сегодня утром. И я не намерена шпионить за собственной матерью. Она сама сообщит то, что сочтет нужным. А теперь извините, я очень устала и хочу спать.

8

Два дня спустя, в пятницу четырнадцатого июля, Норман Скейс отпраздновал одновременно свои пятьдесят седьмые именины и последний день на бухгалтерской службе. Коллегам он заявил, что скромное наследство, оставленное дядюшкой, позволяет ему безболезненно заморозить пенсию, дабы уйти с работы на три года раньше срока. Норману редко доводилось обманывать, и ложь его смущала. Однако нужно же было как-нибудь объяснить, почему обычный клерк, проходивший пять лет из восьми в одном и том же костюме, ни с того ни с сего оставил теплое место. Не выкладывать же сослуживцам правду: дескать, в августе убийца моей дочери выходит на свободу, и нужно сделать кое-какие приготовления, которые поглотят все мое время!

...Хотя конечно, «отпраздновал» – не совсем подходящее слово. Больше всего Норману хотелось бы уйти незаметно, как после обычного рабочего дня; однако в отделе действовали свои правила, от исполнения которых не удавалось увильнуть даже самым необщительным и замкнутым сотрудникам. Любому, кто оставлял место, уходил на пенсию, шел на повышение или женился, полагалось позвать сослуживцев на чашку кофе или рюмку хереса, в зависимости от важности события. Для тех, у кого не было личной секретарши, приглашения любезно печатало машинописное бюро, а распространял какой-нибудь младший конторский помощник – заодно со служебными записками,

циркулярами и свежими периодическими изданиями. Старшая секретарша мисс Милисент Йелланд, тут же начинала суетиться – с таинственным видом перемещалась из кабинета в кабинет с конвертом, куда все желающие клали деньги на подарок, и открыткой, где всякий расписывался под различными поздравлениями, пожеланиями или прощальными словами. Выбор открытки мисс Йелланд неизменно оставляла за собой. В свои пятьдесят четыре года она научилась сублимировать подавленные материнские чувства, взяв на себя роль мамы всего отдела, и последние пятнадцать лет силилась, хотя и без успеха, создать на рабочем месте иллюзию крепкой и счастливой семьи.

Каждый раз поиски велись самым тщательным образом. Секретарша неспешно изучала прилавки «Магазина армии и флота»[23 - Частный магазин, торгующий излишками военного обмундирования, оружием, охотничьими, туристскими и спортивными принадлежностями, флагами и другой патриотической символикой.] и книжной лавки Вестминстерского аббатства. Для представителей старшего поколения мисс Йелланд обычно выбирала изображения собак – эти уважаемые, приятные животные вызвали у нее целую гамму смутных мыслей и чувств, ассоциируясь с верностью и преданностью, с неприкрытой мужественностью, с таинственными развлечениями элиты на охотничьих болотах, где среди вереска прятались куропатки, и, наконец, просто с умеренно хорошим вкусом. Поскольку деревенский особняк, намекающий на теплое семейное счастье, решительно не подходил вдовцу, а легкомысленные оленята и черные кошечки никак не вязались с образом мистера Скейса, в этот раз пришлось остановиться на лохматой псине неопределенной породы с фазаном в зубах.

Уже в офисе мисс Йелланд внимательно изучила открытку – и ощутила приступ сомнения. Фазан, или похожая на него дичь, выглядел чересчур жалким и уж очень мертвым из-за остекленевших глаз и неестественно выгнутой шеи. Да и собака, если приглядеться, смотрела недобро, почти злорадно. Оставалось надеяться, что завтрашнему пенсионеру не претят кровавые забавы. И вообще, дареному коню в зубы не смотрят. Секретарша и так потратила тридцать три пенса из собранных десяти фунтов – ничтожная сумма, конечно, хотя, с другой стороны, он сам никогда не стремился быть в центре внимания, так что покупать новую открытку, повеселее, было бы глупой и неоправданной тратой денег.

Впрочем, поиски карточки для этого мужчины всегда отнимали до обидного много усилий. Восемь месяцев назад, после смерти его жены, о которой скрытый мистер Скейс распространялся так же мало, как и о прочих личных

делах, мисс Йелланд послала ему от имени отдела траурную открытку – серебряный крест, увитый фиалками и незабудками, – так потом извелась, гадая, понравился ли вдовцу ее выбор. Мужчина работал в отделе около девяти лет, и при этом сослуживцы практически ничего о нем не знали – разве только что хмурый молчун, как и старшая секретарша, добирался до Ливерпуль-стрит откуда-то из восточных предместий. Пару раз они случайно столкнулись на остановке; с тех пор мисс Йелланд ловила себя на мысли, уж не нарочно ли ее избегают.

Несколько лет назад, осмелев после двух бокалов дешевого хереса, выпитого на офисной рождественской вечеринке, секретарша спросила, есть ли у него дети. «Нет, – ответил мистер Скейс. И, помедлив пару секунд, неожиданно прибавил: – У нас была дочь, но рано скончалась». Потом залился краской и отвернулся, словно раскаиваясь в неуместном признании.

Мисс Йелланд не могла не почувствовать себя не в меру любопытной грубиянкой. Она неловко пробормотала слова извинения и удалилась – наполнять подставленные бокалы, отвечать на праздничную болтовню коллег. Однако чуть позже сказала себе, что это, пусть ненамеренное, признание слетело с губ несчастного лишь для нее одной. С тех пор секретарша ни разу не вспоминала о трагедии в разговорах, однако лелеяла разделенную тайну, которая, быть может, повысила ее ценность в глазах мистера Скейса. Кроме того, его личная драма заставила мисс Йелланд посмотреть на мужчину другими глазами: он стал интересен, выделился из общей массы, заинтриговал ее, а когда овдовел – и вовсе сделался предметом сокровенных грез. Теперь они оба остались одни. К тому же он такой добросовестный... Младшие сотрудники недолюбливали Скейса – тот настаивал на дотошном выполнении любого задания. Лишь опытная, зрелая женщина могла оценить его по достоинству. Что, если им подружиться, а потом... кто знает... Милисент еще не стара и вполне способна составить чье-нибудь счастье, а не только стирать и готовить для мамочки. Одно плохо: первый шаг придется делать самой.

Ее вдохновила колонка советов из женского журнала; какая-то читательница писала, что интересуется молодым сослуживцем, который не проявляет к ней ничего, кроме дружелюбия и вежливости, никуда не приглашает и не зовет на свидания. Ответ прозвучал вполне определенно: «Купите два билета на спектакль, который бы ему непременно понравился. Затем скажите, что неожиданно получили билеты в подарок, и как бы невзначай спросите, не составит ли молодой человек вам компанию».

Уловка оказалась не из легких. Потребовалось убеждать соседку присмотреть за больной матерью, а потом ломать голову над выбором подходящего мероприятия. В конце концов мисс Йелланд решила, что музыка – самый верный выход, и отстояла длинную очередь за дорогими билетами на концерт Брамса в крупнейшем концертном зале Лондона «Ройал-фестивал-холл» в пятницу вечером. В понедельник Милисент решилась заговорить об этом. Сдержанное приглашение так долго репетировалось, что в итоге прозвучало неловко и неискренне. Некоторое время вдовец молчал, уставившись в бухгалтерскую книгу; секретарша даже усомнилась, услышал ли он хоть слово. Затем мистер Скейс неуклюже поднялся со стула, коротко посмотрел на нее и пробубнил:

– Очень мило с вашей стороны, однако я никуда не хожу по вечерам.

В его глазах мисс Йелланд прочла досаду, чуть ли не панику. Покраснев как вареный рак от унижения из-за столь безусловного отказа, она бросилась искать уединения в дамской раздевалке, порвала ненавистные бумажки в клочья и спустила в унитаз. Бессмысленный и экстравагантный жест. Концерт пользовался большой популярностью, и в кассе билеты наверняка приняли бы обратно. Правда, поступок слабо утешил ее пострадавшую гордость. С тех пор секретарша не приближалась к отвергнувшему ее мужчине. Кстати, ей почудилось, что тихий, ответственный работник еще больше замкнулся, окружил себя еще более жестким панцирем. И вот он покидает отдел. Девять лет обходил ее любовь и заботу стороной, а теперь ускользает навсегда.

Официальное прощание назначили на половину первого, и к часу главный бухгалтер отдела мистер Уиллкокс, в чьи обязанности входило выступать с речами, уже заливался соловьем.

– Если бы кто-нибудь попросил меня, как старшего в нашем отделе, назвать самое выдающееся качество Нормана Скейса, проявленное им за годы работы, я бы ни секунды не медлил с ответом.

Тут он искусно выдержал полуминутную паузу, чтобы коллеги успели притвориться горячо любопытными, будто бы сей вопрос и впрямь вертелся у всех на устах; заместитель старшего бухгалтера мрачно возвел глаза к потолку, младшая секретарша хихикнула, а мисс Йелланд ободряюще улыбнулась Норману. Улыбка осталась без ответа. Мистер Скейс стоял у стола, сжимая в руке бокал, наполовину наполненный сладким африканским вином, и затуманенными глазами смотрел куда-то поверх голов. В этот день он

позаботился о своей внешности не больше и не меньше обычного: надел синий костюм с изрядно потертыми рукавами, рубашку с помятым, но чистым воротничком и аккуратно завязал галстук неопишуемой расцветки. Кого-то он напомнил мисс Йелланд, стоя вот так, поодаль от остальных, точно изгой. Правда, не знакомого человека, скорее героя картины, фотографии, кинохроники. И вдруг ее осенило. Норман поразительно смахивал на обвиняемого с Нюрнбергского процесса. Нелепое, оскорбительное сравнение потрясло секретаршу, женщина вспыхнула, точно ее застали врасплох у чужой замочной скважины, и устремила взгляд на свой бокал; воспоминание не отпускало. Тогда она вновь сосредоточила взор на мистере Уиллкоксе.

– Я бы ответил одним-единственным словом, – провозгласил тот и принялся перечислять: – Добросовестность, сознательность, честность, методичность, профессиональность, – тут он поперхнулся, и Милисент невольно удивилась: неужели в языке есть подобное существительное, – полная надежность. К чему бы ни приложил руку наш мистер Скейс, любое поручение он выполнял от начала до конца с чистоплотностью, четкостью и полной надежностью.

Заместитель залпом выпил бокал, поскольку вино было не из тех сортов, которые хочется смаковать подольше, и с тоской подумал, что если кто-нибудь и слышал более дурацкую, убийственно нудную прощальную речь, то сам он, во всяком случае, ничего хуже на своем веку не слышал. Однако почему Скейс решил так рано удалиться от дел? Легендарное наследство, о котором ходило столько слухов, наверняка принесло ему очень солидную сумму, чтобы на три года раньше... Разве что этот тихоня нашел себе новое место и помалкивает. Хотя вряд ли. Кому в наши дни захочется брать пятидесятилетнего работягу без особой квалификации?

А самодовольный оратор все бубнил и бубнил. Словно из рога изобилия, на слушателей сыпались заковыристые намеки, как распорядится преждевременный пенсионер своей будущей жизнью, полушутливые поздравления с отчетливой ноткой плохо скрываемой зависти, последние традиционные пожелания долгой, благополучной и счастливой старости и надежды на то, что скромный подарок отдела пригодится для покупки какого-нибудь предмета роскоши, который напоминал бы мистериу Скейсу о привязанности и уважении теперь уже бывших сослуживцев.

С этими словами Уиллкокс протянул чек и присоединился к жидким хлопкам, на удивление мерно и беззвучно смыкая и разводя ладоши, точно вялый капитан

болельщиков.

Все взгляды обратились на мистера Скейса. Тот поморгал на конверт, который сунули ему в руку, но даже не открыл. Как будто бы не знал, что полагается по обычаю: сначала сделать вид, словно не может расклеить конверт, потом благодарно выгнуть бровь при виде чека, восхититься рисунком открытки, внимательно изучить все подписи... Норман зажал подарок в ладони, точно маленький ребенок, не уверенный, что это принадлежит ему, и произнес:

– Благодарю вас. Во многих отношениях мне будет не хватать моего отдела после примерно девяти лет...

– Ровно девяти лет! – со смехом воскликнул кто-то.

– После примерно девяти лет, – невозмутимо повторил мистер Скейс. – На любезно подаренный вами чек я куплю бинокль, пусть напоминает о старых друзьях и сослуживцах. Еще раз большое спасибо.

Тут он улыбнулся. Но так мимолетно, вскользь, что видевшим оставалось лишь ломать голову, а не померещилось ли им чудесное преображение. Норман поставил на стол недопитый бокал, пожал руки одному или двум ближайшим коллегам и вышел.

В крохотном кабинете, который он делил еще с парой служащих, лежали в хозяйственной сумке нехитрые, заранее приготовленные пожитки, которые следовало забрать: чайная пара, завернутая во вчерашний выпуск «Дейли телеграф», арифметические таблицы, словарь и мыло. Скейс осмотрелся в последний раз. Вроде ничего не забыл. Шагая к лифту, он на минуту вообразил себе, как вытянулись бы лица бывших товарищей по работе, если бы Норман просто взял и сказал то, что у него на сердце:

«Видите ли, я решил уйти заранее из-за одного важного дела, которое требует серьезной подготовки и займет несколько ближайших месяцев. Понимаете, мне надо найти и прикончить убийцу дочери...»

Фальшивые улыбочки так и замерзли бы у них на губах, превратившись в недоверчивые гримасы, а потом, наверное, все разразились бы деланным смехом. Или еще сюрреалистичнее: коллеги продолжали бы кивать, учтиво

скалиться, потягивать за его здоровье дешевый херес, придавая жуткой исповеди не больше значения, чем напыщенным разглагольствованиям Уиллкокса. Именно в конце его пустопорожней речи Скейса и охватило бессмысленное желание выложить правду-матку. Не то чтобы искушение было неодолимым, но все-таки. Мистер Скейс и сам удивился собственной дерзости. До сих пор его не находили способным на поступок или яркий жест, хотя бы даже и в мыслях. Убийство Мэри Дактон не в счет: это была обязанность, от которой Норман попросту не хотел, да и не смог бы уклониться. Разумеется, он желал себе удачи – в том смысле, чтобы ловко уйти от расплаты за преступление: несчастный отец искал правосудия, а не венца мученика. Досадно, что именно сегодня Скейса посетила мысль, как отнеслись бы к его намерению сослуживцы. Едва появившись, мелодраматическая мыслишка на миг опошлила, если не обесценила, в его глазах грядущую трагедию.

9

Как обычно, Скейс возвращался к себе по Вестминстерскому мосту, через Парламентскую площадь, Грейт-Джордж-стрит и Сент-Джеймский парк. До восточного пригорода можно было добраться и более коротким путем, по городской линии, однако Норман предпочитал пройтись вечером по набережной и уже у парка сесть на метро. С тех пор как умерла Мэвис, он никогда не спешил домой. Не видел в этом смысла.

В парке было многолюдно, но Скейс ухитрился найти свободную скамейку. Пристроив сумку на земле между ног и глядя на озеро сквозь ветви плакучих ив, он вспомнил, как сидел на этом самом месте восемь месяцев назад, в свой первый обеденный перерыв после смерти жены. Тогда стояла необычайно холодная ноябрьская пятница. Солнце в зените казалось большой, размазанной по облакам лунной. Ивы медленно роняли на воду тонкие бледные листья. На грядках с розами оставались лишь крепкие алые бутоны, побитые заморозками; колючие стебли шуршали мертвыми листьями. Озеро блестело морщинистой бронзой, и только посередине будто бы сверкал гладкий поднос чеканного серебра. Какой-то старик шаркал ногами по тропинке, усеянной опавшими листьями. В парке печально веяло запустением: с перил голубого моста вытерли краску бесчисленные руки туристов, фонтан молчал, чайная была закрыта на зиму. Теперь в воздухе гудели голоса гуляющих, звенел детский смех. В тот день, как припомнилось Норману, по дорожке брел единственный мальчик, и когда он грубо, надтреснуто хохотнул, над озером взметнулись с жалобными криками пухлые чайки. Вдали, у корней деревьев,

между пучками травы белели пятна раннего снега.

На Скейса даже дохнуло забытым ноябрьским холодом, и он прикрыл веки, чтобы не видеть залитой солнцем зелени парка над зеркалом голубой воды, отрешился от призывных ребячьих криков и приглушенной музыки оркестра и мысленно перенесся в больничную палату, где скончалась Мэвис.

Надо же было выбрать такой неудачный день, напряженный четверг, да еще и четыре пополудни – самое горячее время. Уж лучше бы ночью: большинство пациентов спят или просто уgomонились, персонал может отдохнуть от ежедневной битвы за жизнь и уделить внимание тем, кто ее проиграл. Утомленная медсестра объяснила, что по правилам полагалось, конечно, переместить больную в отдельную боковую палату, но, к несчастью, все они заняты. Может, завтра... В общем, кто доставляет в последние минуты меньше хлопот персоналу, тот и заслуживает больше комфорта. Норман сидел рядом с женой за шторами, узор которых навсегда отпечатался в его памяти: маленькие розовые бутоны на фоне гвоздик. Очень мило и уютно. Как будто бы можно приукрасить смерть. Сквозь щель между занавесками Скейс видел, как суетятся медсестры в длинных халатах, с безразличным видом подкатывая к постелям столики на колесах, закрепляя капельницы... Чья-то голова просунулась и радостно спросила:

– Чаю?

Норман принял чашку и блюдце из белого фарфора; в буроватой жидкости уже таяли два куска сахара.

Руки жены лежали поверх одеяла. Норман держал ее левую ладонь, гадая, какие грезы царят в долине теней. Разумеется, им далеко до кошмаров, которые мучили Мэвис долгими ночами после гибели единственной дочери, так что Норман то и дело просыпался от истошного визга, задыхаясь от горячего, сладковатого запаха пота и страха. Мир, куда она унеслась, наверняка добрее, иначе почему бы ей лежать столь тихо? Скейс отстраненно наблюдал, как пробегали по лицу умирающей смутные тени чувств, уже недоступных ей: то капризно сдвигались брови, то мелькала коварная, неискренняя улыбка. Мужу она почему-то напомнила маленькую Джули в те дни, когда девочка страдала газами и строила похожие серьезные мины. Вот ее веки задрожали, а губы слабо зашевелились. Норман наклонился.

- Лучше ножом. Так надежнее. Не забудешь?

- Нет, не забуду.

- Письмо с собой?

- Да, письмо с собой.

- Покажи.

Скейс достал бумажник. Мутные глаза Мэвис с трудом сосредоточились на клочке помятой бумаги, трясущиеся пальцы жадно потянулись к нему, словно к мощам святого-целителя, а челюсть отвисла и задрожала от натуги.

Муж прижал ее иссохшую ладонь к конверту и произнес:

- Я не забуду.

Ему на ум пришел тот день, когда письмо появилось на свет. Примерно год назад Мэвис впервые услышала, что больна раком. Вечером супруги сидели на диване – рядом, но порознь – и смотрели передачу о птицах Антарктики. Как только Норман выключил телевизор, жена промолвила:

- Если не вылечусь, придется тебе действовать в одиночку. Это нелегко, понимаю. Чтобы ее разыскать, понадобится убедительная отговорка. И потом, после убийства, вдруг тебя заподозрят, надо будет внятно все объяснить. Я напишу письмо, напишу, что простила ее. Скажешь: дескать, исполнял мою последнюю волю, хотел передать конверт из рук в руки.

Когда она это придумала? Должно быть, размышляла во время передачи. Скейс ощутил болезненный укол разочарования и страха. В глубине души он надеялся, что уход Мэвис каким-то образом избавит его от тяжелой ноши, непосильной для одного. Однако выбора не оставалось. Тогда же за кухонным столом и родилось роковое письмо. Жена не стала запечатывать конверт: мало ли кто пожелает ознакомиться с его содержимым, прежде чем сообщить Норману местонахождение убийцы. Скейс так и не прочел письма – ни тогда, ни позже, но всегда носил его в своем бумажнике. До самой предсмертной минуты Мэвис ни разу не заговаривала об этом послании.

Потом она впала в забытие. А Норман сидел прямо, словно проглотил аршин, накрыв ладонью сухую руку, похожую на лапку ящерицы – недвижимую, с противно скользкой кожей. Он напомнил себе, что эта самая рука долгие годы готовила для него, стирала, убирала дом, и попытался вызвать прилив жалости. Сердце немного дрогнуло, хотя это было не сострадание, скорее смутное чувство еще одной невозвратимой утраты. И медсестра – зачем она так хлопочет? Столько шума, суеты, а ведь все бесполезно. Зарыдать бы сейчас – не о Мэвис, обо всех сразу, о больных и здоровых, а главное – о себе самом. Слезы не подступали. Вместо них появилось желание брезгливо отдернуть ладонь. Скейс пересилил его. Что, если медсестра заглянет за штору? Наверняка она ожидает увидеть верного мужа покорно сидящим у смертного ложа, склонившимся над своей любимой в тщетной попытке утешить угасающую плоть. Любимой... Нет, любовь умерла. Мэри Дактон удавила ее своими руками, когда вытрясла душу из их ребенка. Если вдуматься, настоящее чувство не должно так легко погибать. Но когда-то оно казалось очень даже настоящим. Да, они любили друг друга, как и всякое живое существо на планете – в меру сил. А чем это кончилось? И кто из них больше виноват? Та, которую прежде переполняла энергия, или тот, который, наверное, мог бы помочь своей половине преодолеть кошмар и начать жить? К чему теперь гадать на кофейной гуще? Важно не подвести Мэвис хотя бы в последний раз. Для этого остался единственный путь: их общая цель отныне должна стать его собственной. Кто знает, может быть, смерть убийцы искупит и оправдает потраченные впустую бесконечные годы ожидания.

Жена лелеяла горькую жажду мести, словно чудовищного младенца, который день ото дня рос в утробе, ни на миг не позволяя забыть о себе. Со временем даже личный врач утомился выписывать рецепты и направления к местным светилам психиатрии, даже он признал, что несчастная горюет слишком долго. В конце концов, горе – непозволительная роскошь в современном обществе, выделяющем сочувствие скупыми монетками, точно милостыню, так что многие гордецы и вовсе не протягивают за ней руки. Норману подчас приходило в голову, что викторианские обычаи показного траура не лишены смысла. По крайней мере они четко определяли границы общественной терпимости. Вдове, например, полагалось провести год в черном, полгода в сером и потом уже ходить в лиловом. Так рассказывала Скейсу бабушка, с уважением отзываясь о богатых провинциальных домах, где ей довелось служить горничной. Интересно, сколько черного причиталось родителям изнасилованного и убитого ребенка? В те времена подобная потеря возмещалась не позже чем за год.

«У вас впереди целая жизнь», – твердили Мэвис. В ответ она широко распахивала непонимающие глаза: какая еще жизнь? «Подумайте о муже», – советовал доктор. И она думала. По ночам, напряженно и безмолвно лежа в двуспальной кровати, Норман смотрел в черный потолок и явно видел еще более беспросветные тучи ее мыслей: невысказанные упреки злокачественной опухолью запускали щупальца в его мозг. Жена ни разу так и не повернулась к нему. Разве только иногда протягивала руку, но стоило Скейсу коснуться ее, отдергивала. Та самая плоть, что некогда заронила в нее семя жизни, теперь отталкивала Мэвис. Как-то раз, чувствуя себя последним предателем, Норман робко поднял деликатную тему в беседе с врачом, и тот, ни секунды не сомневаясь, выдал: «Физическая близость ассоциируется у вашей супруги с бедой и утратой. Терпение, подождите немного». Он и терпел. До самой ее смерти.

...Кажется, снова заговорила? Скейс наклонился ниже, уловил кислотовато-сладкий запах тления – и еле справился с искушением закрыть рот платком, чтобы не заразиться. Вместо этого он задержал воздух и постарался не дышать. Потом не выдержал и все-таки втянул в себя часть ее дыхания. Несколько нескончаемых минут Норман не мог разобрать, что шепчут дрожащие губы, но вот послышался неожиданно ясный, резкий, глубокий голос, какой был у нее до болезни.

– Сильная, – произнесла умирающая. – Сильная.

О чем это? Может, она имела в виду сильную волю, которая понадобится ему, чтобы исполнить задуманное? Или хотела напомнить об огромной силе убийцы, о том, что не следует легкомысленно приближаться к ней без оружия?

Тогда, на скамье подсудимых, Мэри Дактон не показалась ему ни слишком высокой, ни крепкой. Хотя, должно быть, сам зал суда – столь неожиданно тесный, безликий, обитый бледным деревом – приуменьшал всякое человеческое существо, виновное и невиновное, попавшее в его стены. Даже прокурор, облаченный в багряную мантию с королевским гербом, съежился до крылатой марионетки. Однако долгие годы, проведенные за решеткой, вряд ли ослабили преступницу. О, за узниками хорошо присматривают, чтобы никто не перерабатывал, не голодал, делал по утрам зарядку. Заболевшим предоставляется наилучший медицинский уход. Прежде, замышляя убийство, супруги мечтали удавить Мэри Дактон голыми руками, ведь именно так погибла Джули, но... Мэвис права. Мистер Скейс остается один. И без оружия ему

не обойтись.

Видит Бог, он совсем не желал, чтобы жена умирала в горькой злобе. Преступница навеки отняла у них любовь – утешение каждого смертного, дружбу, смех, планы, надежды. И конечно, Джули. Порою Скейс недоуменно ловил себя на том, что почти забыл о ней. А Мэвис утратила своего Бога. Как всякий из верующих, она мысленно творила Его по собственному образу и подобию, представляя себе эдакого добряка-методиста с провинциальными вкусами, любителя радостных песен и умеренно-академических обрядов, не требующего больше, чем она в состоянии дать. В церковь по воскресеньям жена ходила по привычке, скорее из соображений удобства, чем ради страстного желания восславить Творца. Воспитанная в семье методистов, она была не из тех, кто отвергает понятия, привитые в детстве. Однако так и не простила Богу гибели маленькой дочери. Скейсу часто казалось, что Мэвис и его не простила. Наверное, потому и умерла их любовь: из-за вины. Жена укоряла его, а он терзал сам себя.

Снова и снова она вспоминала:

- Зачем только мы ей разрешили? Наша дочь не пошла бы в скауты, но ты так хотел этого...
- Я просто не желал ей одиночества. Я помнил, каково это в детстве...
- Ты должен был заезжать за ней по четвергам. Тогда ничего бы не случилось.
- Ты же знаешь, она не позволяла. Говорила, что ходит через площадку с подружкой, с Сэлли Микин.

Нет, Сэлли не провожала ее. Никто не провожал. Девочка просто стыдилась просить родителей о помощи. Вообще она ужасно походила на отца в юности: столь же непривлекательная, нелюдимая, замкнутая, дочь стремилась бороться с неуверенностью и неразумными детскими страхами в одиночку. Норман отлично понял, почему она никогда не ходила через игровую площадку: та, верно, казалась ей огромной и темной пустыней. Подвязанные на ночь цепочные качели страшно скрипели на ветру, гигантская горка хищной кошкой изгибалась на фоне закатного неба, из глухих укромных мест веяло угрозой, у скамеек, на которых днем сидели мамы с колясками, пахло мочой. И Джули делала

огромный крик по незнакомым улицам, схожим с ее собственной и потому не таким пугающим. Приятные, уютные дома-пятистенки с освещенными окнами внушали чувство покоя и уверенности. На одной из таких ничем не примечательных улиц девочке и повстречался насильник. Без сомнения, он, как и его дом, должен был выглядеть донельзя заурядно, чтобы заманить жертву, не вызывая подозрений. Родители постоянно твердили ей, как опасно разговаривать с незнакомцами, брать у чужих людей сладости, а тем более куда-то с ними ходить. Надеялись, что природная застенчивость будет ей защитой. Однако ничто не уберегло от беды: ни родительская опека, ни предупреждения.

Впрочем, чувство вины в сердце Нормана потихоньку таяло. Время не исцелило, но по крайней мере обезболило рану. Видимо, всякому человеческому страданию положен предел. Скейс где-то читал, что самые страшные пытки терзают жертву до определенного момента, за которым уже нет боли, когда град ударов спокойно воспринимается сознанием и даже приносит некое удовлетворение. Норману припомнилась первая чашка чая, выпитая после смерти дочери. Он по-прежнему не мог и смотреть на еду, но безумная жажда застала его врасплох, и он не смог противиться. У крепкого сладкого чая оказался восхитительный вкус. Никогда, ни до, ни после, мистеру Скейсу не приходилось испытывать подобного. Джули умерла считанные часы назад, а его коварная, прожорливая плоть уже бессовестно вкушала удовольствия этого мира.

И вот, сидя под солнцем с пожитками, брошенными под скамейку, Норман опять ощутил всю тяжесть бремени, которое взвалила на него жена перед смертью. Итак, ему нужно разыскать и прикончить убийцу дочери. Лучше бы сделать это со всей осторожностью: бывшего клерка пугала мысль о тюрьме; однако, если не удастся, он совершит задуманное любой ценой. Сила убеждения поразила его самого. Откуда взялось такое страстное желание? Неужто все дело в мести? Нет, она давно уже ослабла. Тоска по Джули? И это чувство, поначалу столь же пронзительное, как у Мэвис, со временем выгорело, оставив в душе пустоту. Отец едва помнил ее лицо. Жена уничтожила все фотографии до единой. Хотя перед глазами Скейса еще стояли некоторые из них – точнее, изредка всплывали, для поддержания мрачных мыслей. Вот он впервые взял дочь на руки: такое крохотное, запеленатое тельце, слипающиеся глазки, бессмысленная улыбка. А вот Джули топает по берегу озера, крепко ухватившись за отцовский палец. Или она же в форме скаута накрывает на стол – очень старается, хочет заработать лишний значок... Что же теперь делать? Как бы он ни расправился с убийцей, девочку не вернуть.

Может быть, Норман хотел сдержать слово, данное жене? Но как можно хранить или не хранить верность покойнице, которая самым актом умирания поставила себя вне досягаемости любого предательства и обмана? Никакие поступки супруга уже не тронут ее, не повредят ей и не разочаруют. Ведь не вернется же недовольный призрак Мэвис терзать его укорами за проявленную слабость? Нет-нет, она здесь ни при чем. Мистер Скейс сделает это ради себя. Это же надо: прожить пятьдесят семь лет полным ничтожеством – и вдруг пожелать доказательств, дескать, я тоже способен на отчаянный поступок, настолько ужасный и непоправимый, чтобы после, как бы ни обернулась судьба, уже никогда не сомневаться в себе... Норман перебирал в уме одну причину за другой, и все они казались правдоподобными, хотя нимало не трогали сердце. Просто он чувствовал, что сделает это, что убийство неизбежно и даже предопределено роком.

Солнце заходило. С озера потянуло прохладой, ивы зябко задрожали на ветру. Нашарив сумку под скамейкой, Норман зашагал к метро.

10

В четверг двадцатого июля, спустя три дня после того как от матери пришел ответ, Филиппа купила билеты в оба конца до Йорка и села на девятичасовой поезд от вокзала Кингз-Кросс. Краткий информационный листок, прилагавшийся к письму вместе с пропуском на посещение, сообщал, что автобус до Мелькум-Гранж отправляется из Йорка ровно в два пополудни. При том душевном беспокойстве, которое обуревало девушку, ей показалось легче провести несколько часов, гуляя по городку, нежели нервничать в Лондоне, ожидая более позднего поезда.

По прибытии она купила в киоске путеводитель и пустилась бродить по узким мощеным улицам, среди старинных, укрепленных тяжелыми брусьями домов и роскошных особняков в стиле георгианской эпохи, по укромным зеленым аллеям, прошла по магазинам, пропахшим иноземными пряностями, заглянула в зал для приемов, построенный в восемнадцатом веке, наведальась в средневековый зал странствующих купцов, увешанный пышными флагами гильдий и портретами их покровителей, посетила развалины римских бань, осмотрела старинные церкви. Город представился гостю сказочным сном, и все его красоты, воплощенные в светотени, красках, формах или звуке, глубоко отпечатались в ее сознании, настроенном на отстраненно-возвышенный лад.

И вот, миновав статую святого Петра, Филиппа вошла через западные врата в прохладу главного собора, где наконец-то решила присесть и отдохнуть. Тут она вспомнила, что захватила с собой сырно-томатный рулет, и впервые поняла, как сильно проголодалась. Однако не устраивать же пикник прямо в церкви. Это оскорбило бы, пожалуй, чувства верующих. Ничего, она еще потерпит. Запрокинув голову, посетительница обратила взор на ослепительно прекрасные средневековые витражи огромного восточного окна, туда, где Бог-Отец царственно восседал надо всем творением. Перед Ним была раскрытая книга. «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец»[24 - Новый завет. «Откровения Иоанна Богослова». 1:8.]. Как проста должна быть жизнь тех, кто потерял и обрел себя в подобном величественном утверждении. Увы, для нее этот путь закрыт. Символ веры Филиппы более суров и самонадеян: для нее все начинается и завершается ею же.

Она пришла на остановку чуть раньше положенного и не пожалела, что пожертвовала ради этого вторым завтраком: двухэтажный автобус уже стремительно заполнялся. «Интересно, – подумала Филиппа, – сколько людей едут туда же, куда и я? Многим ли из них месяцами приходится проделывать знакомый маршрут?» На табличке автобуса тюрьма не значилась. «В Мокстон через Мелькум» – только и говорилось там. Некоторые пассажиры выкликивали имена знакомых, пробирались, чтобы занять места рядом. Большинство везли с собой корзины и объемные мятые сумки. Как ни странно, здешнее общество не выглядело мрачным, подавленным, отмеченным особой печалью. Возможно, каждого и тяготило собственное бремя, но в этот безоблачный день оно казалось немного легче. Солнце припекало сиденья через стекло. Автобус, пропахший нагретой кожей, телами, свежее испеченным печеньем, летним ветерком и луговыми травами, беззаботно покатил мимо редких деревушек, тенистых зеленых долин, где тяжелые ветви конского каштана царапали высокую крышу, потом со скрежетом взобрался вверх по узкой тропе между каменных стен, и теперь по обе стороны тянулись сжатые поля, на которых паслись стада белоснежных овец.

Лишь трое пассажиров на первом этаже не разделяли общего настроения: поседевший мужчина средних лет в безупречном костюме, занявший место рядом с Филиппой перед самым отъездом (всю дорогу он смотрел в окно, отвернувшись ото всех, и беспокойно крутил золотое кольцо на среднем пальце), и две немолодые женщины, что сели позади.

– Требуется и требует, все время чего-то требует, никак не угомонится, – ворчала первая. – Теперь ей шерсть подавай! Я говорю, тебе-то хорошо, но нельзя же так. Я не могу. Я и так твоим ненаглядным деткам не даю помереть с голодухи, а ты все губы раскатываешь. Два десятка клубков! Вязать она, видите ли, удумала, хочет себе что-то вроде курточки! Джордж к ней больше не ездит. Он этого не выносит, нет, только не наш Джордж.

– Я видела на распродаже в Паджете хорошую шерсть, – заметила товарка.

– Хорошую? Черта с два! Ей-то надо новую, французскую. По восемьдесят пенсов за унцию, не хочешь? Могла бы обойтись и пуловером. Хоть бы о детях подумала! У ней ведь трое, все мал мала меньше, никому и восьми нет. Мне и повязать некогда. Я говорю, мол, это я в тюрьме, а не ты. Жаль, таких не выпускают из камеры, чтобы сами глядели за своей малышкой. А то и неясно, кого из нас приговорили...

Седоволосый мужчина продолжал пялиться в окно и нервно вертеть кольцо.

Время от времени Филиппа проводила рукой по сумке, нащупывая конверт с письмом от матери. Ответ пришел в понедельник семнадцатого июля. Судя по штемпелю, его доставили за два дня. Послание было сжатым и деловым, напоминая стиль самой Филиппы. Девушка помнила его наизусть.

«Благодарю за письмо и любезное приглашение, но, вероятно, сначала нам стоит увидеться. Я пойму, если ты передумаешь, и сочту такое решение разумным. В конверте ты найдешь месячный пропуск на посещения. Приезжай, когда тебе будет удобно. Само собой, я всегда на месте. Мэри Дактон».

Вот так – просто Мэри Дактон. Насмешливый тон последней фразы слегка заинтриговал девушку. Впрочем, это могла быть и попытка немного снизить накал, заранее разрядить обстановку перед их первой встречей, нечто вроде самозащиты.

Двадцать минут спустя водитель замедлил ход и свернул влево, на узкую дорогу. Указатель гласил, что до Мелькума осталось две мили. За окнами ползли каменные дома, щит с местным гербом, универсальный магазин, почта, потом автобус пересек по горбтому мостику неглубокий быстрый поток и поехал вдоль городской стены высотой в восемь футов. Несмотря на явно почтенный

возраст, каменная ограда была в отличном состоянии. Когда она вдруг закончилась, двухэтажный автобус с грохотом встал перед огромными воротами. Кованые створки оказались открытыми. На стене была строгая надпись черной и белой краской: «Тюрьма Мелькум-Гранж».

«А что, – отметила Филиппа, – не такое уж неподходящее здание. Хотя возводили его точно не для этих целей». Это был кирпичный особняк шестнадцатого века: два далеко выдающихся в стороны крыла, центральный блок и две строгие зубчатые башни. На солнце полыхали ряды высоких сводчатых окон в перекрестье решеток. Внушительных размеров крыльцо с тяжелым портиком скорее наводило на мысли о грозной силе и непоколебимости, чем о радушном гостеприимстве. Более поздние переделки сразу бросались в глаза. К примеру, подъездную площадку перед парадной дверью расширили, чтобы дать место для парковки полудюжине служебных автомобилей, а по правую руку от каменного здания выстроились бараки сборного типа – мастерские, должно быть, или дополнительные спальные помещения. На лужайке слева от главной дорожки три женщины в рабочих комбинезонах лениво паяли поломавшуюся газонокосилку. При виде потока посетителей они обернулись, но без особого воодушевления.

Сплошная открытость, отсутствие сторожей и нестареющая красота средневекового замка, раскинувшегося перед ней во всем своем величественном покое, неприятно смутили Филиппу. Автобус тронулся, увозя немногих оставшихся пассажиров дальше по маршруту. Девушка спохватилась: она так и не спросила, когда возвращаться назад. На миг ее обуял необъяснимый с точки зрения разума ужас: а вдруг придется застрять здесь, в этой темнице, так пугающе не похожей на место, где должны содержать заключенных? Между тем прочие посетители невозмутимо устремились вперед по дорожке, усыпанной гравием. Каждый из них сутулился под тяжестью сумок. Даже мужчина в костюме нес под мышкой большую стопку книг, перевязанных бечевкой. И только Филиппа явилась с пустыми руками. Девушка вздохнула и медленно пошла вслед за остальными, чувствуя, как громко колотится сердце. Одна из пассажирок автобуса, негритянка примерно ее возраста, с тонкими аккуратными косичками, переплетенными желто-зеленым бисером, обернулась и подождала Филиппу.

– Новенькая, что ли? Видела тебя в автобусе. Ты к кому?

– Я приехала навестить миссис Дактон... Мэри Дактон.

– Мэри? Она в том корпусе, где конюшни, вместе с моей подружкой. Иди за мной, я покажу.

– Разве не надо где-нибудь отметить...

– Отметишься у надзирателя. ПП-то с собой?

Филиппа непонимающе выгнула брови.

– Ну, ПП. Пропуск на посещение.

– А, да, с собой.

И новая знакомая повела ее вокруг основного здания, по вымощенному булыжниками двору к перестроенным конюшням. Открытая настежь дверь приглашала войти в маленький кабинет. Женщина в форме приняла у негритянки пропуск, в мгновение ока обшарила ее сумку с передачей и наконец проговорила с мелодичным шотландским акцентом:

– Честное слово, Этти, ну ты и лапочка сегодня. С ума сойти, как у тебя терпения хватает наводить всю эту красоту.

Этти ухмыльнулась и тряхнула косичками. Бусинки с тихим звоном заплясали-запрыгали на свету. Надзирательница повернулась к Филиппе. Та протянула свой пропуск.

– А, вы и есть мисс Пэлфри. Первый раз, да? Комендант подумал, что вам не помешает пообщаться наедине, так что я застолбила комнату свиданий. Около часа вас точно не будут беспокоить. Этти, покажешь мисс Пэлфри, где это? А то мне сейчас нельзя отлучаться.

Комната оказалась совсем близко. На двери висела картонная табличка с надписью «Занято». Негритянка легонько толкнула ее, но открывать не стала.

– Ну вот, пришли. Свидимся в автобусе.

Оставшись одна, Филиппа осторожно отворила дверь. Внутри никого не было. Она захлопнула за собой створку и прислонилась к ней спиной. Прикосновение надежного дерева придало уверенности. Помещение чем-то напомнило кабинет мисс Хендерсон – должно быть, ощущением поддельного уюта. Ничто не цепляло взгляд. Ни дать ни взять привокзальная комната отдыха: использовать и забыть навсегда. Покидая такую, никто не обернется с сожалением. Здесь никому не придет в голову по-настоящему расслабиться, хотя бы на время отрешиться от скорбей и несбыточных надежд. Голые стены пестрели какими-то пятнами, словно их недавно отмыли от граффити. На каминной полке стояла стеклянная ваза с искусственными цветами, сверху висела репродукция с картины Констебля[25 - Констебл (Констебль), Джон (1776–1837) – английский живописец.] «Подвода, везущая сено». С полдюжины маленьких, отполированных до зеркального блеска столов окружали стулья неодинаковых размеров и формы – похоже, скупленных задешево в разных домах. Вообще тут нагромодили слишком много мебели. Посреди комнаты, выделяясь на фоне довольно свободной, неформальной обстановки, торчал квадратный столик с парой обращенных друг к другу стульев. Сразу чувствовалось, что здешние обитатели рассматривают каждый визит как официальную беседу сквозь невидимую, но от этого не более проницаемую решетку.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (<http://www.litres.ru/fillis-dzheyms/nevinnaya-krov/?lfrom=201227127>) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

notes

Сноски

1

Из поэмы «От Элоизы к Абеларду» Александра Поупа. – Здесь и далее примеч. пер.

2

Герои романа Джейн Остен «Эмма».

3

Рен, Кристофер (1632–1723) – английский архитектор, математик и астроном. Представитель классицизма.

4

Гиббонс, Гринлинг (1648–1721) – английский скульптор; выдающийся резчик по дереву.

5

Рубильяк, Луи-Франсуа (1695–1762) – французский скульптор; жил и умер в Лондоне.

6

Морланд, Джордж (1763–1804) – английский художник.

7

Облигато (ит. *obbligato*, от лат. *obligatus* – обязательный, непременный) – партия инструмента в музыкальном произведении, которая не может быть опущена и должна исполняться обязательно.

8

Бриксхэм расположен на юго-западном побережье Великобритании; небольшой живописный городок, раскинувшийся на холмах, окружающих гавань, которая является одним из основных рыболовецких портов и курортных мест.

9

Керамисты Стаффордшира славились поливной керамикой в народном стиле и тонкостенным фаянсом, который назывался «трубчатые глины».

10

Самая большая любовная интрига девятнадцатого столетия – история любви и недолгого брака королевы Виктории и принца Альберта Саксен-Кобургского.

11

По распоряжению принца Альберта доходы от Великой Выставки 1851 года пошли на строительство новых музеев, библиотек, школ и выставочных залов.

12

Дарлинг, Грейс (1815–1842) – дочь смотрителя маяка, вместе с отцом прославившаяся спасением людей с затонувшего судна в 1838 г. После ее смерти Вордсворт написал в ее честь поэму «Грейс Дарлинг».

13

Памятная записка (фр.).

14

Герон, Сесилия – младшая дочь Томаса Мора.

15

Хольбейн (Гольбейн), Ханс Младший (1497 или 1498–1543) – немецкий живописец и график. Представитель Возрождения.

16

Йитс, Уильям Батлер – ирландский поэт и драматург, Нобелевская премия по литературе, 1923 г.

17

Джон, Огастес Эдвин (1878–1961) – английский живописец. Крупный мастер реалистического портрета и бытового жанра.

18

Национальная галерея Же-де-Пом в Париже.

19

Acquatinta (ит.) – метод гравирования, основанный на протравливании кислотой поверхности металлической пластины с наплавленной асфальтовой или канифольной пылью и с изображением, нанесенным с помощью кисти кислотоупорным лаком.

20

Фарингтон, Джозеф (1747–1821) – английский живописец.

21

Брехт, Джордж (р. 1925) – всемирно известный американский художник.

22

Уолтон, Генри (1746–1813) – английский живописец.

23

Частный магазин, торгующий излишками военного обмундирования, оружием, охотничьими, туристскими и спортивными принадлежностями, флагами и другой патриотической символикой.

24

Новый завет. «Откровения Иоанна Богослова». 1:8.

25

Констебл (Констебль), Джон (1776–1837) – англійський живописець.

Купити: <https://tellnovel.me/fillis-dzheyms/nevinnaya-krov-kupit>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)